ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ОГИЗ · ОМГИ

52,14

1116603
Св. 2015

Ценный
фонд

ф. П

О-578

ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ф. П. 116603

Омская областная
библиотека
им. А. С. Пушкина

ОГИЗ

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОМСК 1944

118613

ЮРИЙ ЗАБИНКОВ

СТИХИ О ПЕХОТИНЦЕ

Очень часто о самых жестоких боях
И о действиях нашей пехоты
В скороспелых рассказах, стихах и статьях
Пишут в стиле таком для чего-то:
„Был мороз и пурга бушевала вокруг,
Замерзали и падали птицы,
И винтовка сама выпадала из рук
До желудка промерзшего фрица,
Но с улыбкой в привычную глядя пургу,
Хоть ударил мороз не на шутку,
Шли вперед пехотинцы, на зависть врагу
Распахнув воротник полушубка!“

Все это неверно, все это не так:
Хороший и преданный парень —
Боец наш, прошедший немало атак, —
Он вовсе из стали не сварен.
Он мерзнет, когда настают холода,
Он создан из крови и плоти,
И если выходит махра иногда,
Его заскучавшим найдете.
В тяжелых походах и он устает,
Привалу он рад небольшому,
Он вечером тихие песни поет
И часто скучает по дому.
Но он не захочет вернуться домой,
К семье своей, в теплую хату,
Пока на земле — на советской, родной —
Бесчинствуют вражьи солдаты.
Но если в засаде, в степи средь снегов
Лежать без движенья придется,
Он стерпит мороз, он дождется врагов,

И, выстрелив, не промахнется.
Чтоб все, что у немца отбито опять
Врагам никогда не досталось,
Он будет эс-эсовцев к западу гнать,
Свою пересилив усталость.
Да, все человечьи в нем слабости есть,
И все-таки он побеждает.
Ведет его в битвы великая месть,
Он бьется с врагом за свободу и честь
Родного, любимого края!

ФОТОКАРТОЧКА

Табачок обыкновенный,
Что махоркою зовут,
Нашей лирики военной
Неизменный атрибут.
На привале утомленный,
Где-нибудь в сторонке сев,
Вынешь к празднику даренный
В роту присланный кисет.
Только скрутишь козью ножку —
И друзья на огонек
Соберутся понемножку
И потянется дымок.
И за дымкой синеватой
Вспомнив дом, семью, уют,
Фотографии ребята,
Кто откуда, достают.
Из блокнота, из планшеток
И из сумок полевых
Достают друзья портреты
Милых девушек своих.
С равнодушьем нарочитым
И со скукой напускной,
С тайной мыслью: „Не ищи ты —
Не найдешь другой такой!“
Я сказал бы целой роте:
„Ошибаетесь, друзья!“
...У меня лежит в блокноте
Фотография твоя.

Если б я похвастал ею,
Все сказали б вслед за мной,
Что умнее и милее
Нет на свете ни одной.
Только карточкой твоею
Я любуюсь в стороне,
А друзьям похвастать ею
Не дала ты права мне.
Ты, пожалуй, и не знала,
Что печаль мне дашь в удел:
Просто так портрет прислала,
А не так, как я хотел.
И когда приходит почта,
Я напрасно жду, чудак,
Что другой портрет пришлешь ты
Надписав... не просто так.

ИВАН ИСТОМИН

„НА ЧЕМ ЕЗДИТ КРАСНАЯ АРМИЯ“

(ПЕРЕВОД С КОМИ)

Сэрне ловко бросила тынзян, и оплетенный им олень пошел за ней.

— Куда так рано собираешься? — продрогшим на морозе голосом спросил старый Енчу.

— А разве забыл, дедушка? — вместо ответа спросила Сэрне, запрягая оленя в легкую нарту.

Енчу стоял на своей сторожевой нарте и в мохнатой совине был похож на маленький чум. Он переступил с ноги на ногу и, вспомнив, протянул:

— А-а-а... Ну-ну... Добрый путь! — затем улыбнулся и, покряхтывая, начал усаживаться на мягкую амдеру[1].

Сэрне собиралась ехать в красный чум. Он стоит в пяти попрысках отсюда. Конечно, Сэрне успела бы съездить туда и вернуться еще до выхода на дежурство по охране стада, если бы выехала и позже. Только не в ее характере это. Она ничуть не прочь была съездить даже ночью. Одного не хотелось ей — людей тревожить. И еле дождалась наступления утра. Всю ночь не могла спать — ворочалась с боку на бок. Мысли в ее голове носились, как снежинки во время пурги. А беспокоило ее одно: сумеет ли она искупить свою вину перед колхозниками. Сэрне не ответила колхозникам-ненцам на их вопрос: „На чем ездит Красная Армия?“ Этот вопрос был задан ей, как агитатору, вчера перед ужином, на общем сборе пастухов. Сэрне проводила беседу о событиях на фронте.

Невысокого роста, с темными, угольного цвета, глазами, белолицая двадцатилетняя Сэрне, сидя за низень-

---

[1] Амдера — сиденье из оленьей шкуры.

ким столиком в кругу колхозников, казалась подростком. Рядом, в середине чума, весело трещала железная печь, и не было едкого дыма.

Сэрне говорила о храбрости наших бойцов, о трудностях, какие приходится переносить им на фронте в зимнюю пору.

Говорила о священных обязанностях работников глубокого тыла. И уже перед самым концом беседы задал вопрос пятилетний сын пастуха Лабе — Ваули. За все время беседы он за спиной Сэрне возился со своими „олешками" из бабок, и никто его не замечал. А тут, когда уже взрослые хотели было разойтись до следующей встречи, он высунул голову из-за спины Сэрне и, лукаво улыбаясь, спросил:

— Сэрне, а на чем ездит Красная Армия?

— Охо-хо-о!!! — изумились взрослые.

— Ишь ты, — нежно сказала Сэрне и погладила мальчика по круглой черноволосой головке, — ишь ты какой, Ваули...

И Сэрне, шутя, легонько придавила приплюснутый носик мальчугана. А Ваули подсел к ней, скосил голову набок и залепетал:

— Скажи, Сэрне, Красная Армия на чем ездит... На олешках ездит, да?

— Нет, парень, не на олешках, — сказала Сэрне, широко улыбнувшись и обнажив два ряда крепких, словно выточенных из мамонтовой кости, зубов.

— А ведь и я тоже не знаю — на чем Красная Армия ездит, — сознался пожилой ненец, дядя Сэрне.

— Гм... и я, пожалуй, тоже хорошенько не знаю, — присоединился к нему Лабе.

— Да, кажется, Сэрне нам не говорила еще об этом, — сказал кто-то.

— И то верно...

— Да, да, Сэрне, ты не рассказывала!..

— Тише, товарищи! Сейчас она нам расскажет. Я тоже давно уже хотел просить ее об этом.

Это говорил старый Енчу. Все послушались его, притихли и остались сидеть на своих местах. Сэрне, увидев, что этот вопрос интересует всех, сделалась серьезной и подумала: „А ведь и вправду я не рассказывала им об этом".

— Правду говорите, товарищи... Не рассказывала я вам про это, — созналась она, подумав.

— Во-во!..

— Теперь слушать хотим. Говори, Сэрне!..

Девушка хотела было начать рассказ, но вдруг замялась и густо покраснела. Она и сама не имела ясного представления о том, на чем ездит Красная Армия. Конечно, она знает, что наша армия вооружена самолетами, танками!.. Но ведь могут спросить, что из себя представляет танк, бронепоезд или другая машина. Спросят. Обязательно спросят. Знает их Сэрне. А где же обо всем этом рассказать ей, ненецкой девушке, только два года тому назад научившейся читать? Но в подобном положении она впервые... Как же это так? — думала Сэрне. — Чего же я раньше не постаралась узнать! Плохо...

Пришлось ей извиниться перед пастухами и сказать, что сама пока хорошо не знает.

— Ко-о-о... — недовольно произнес кто-то.

— Правда, товарищи, не могу я сейчас ответить, — уверяла их Сэрне и обещала завтра же съездить в красный чум, порасспросить там знающих людей и привезти даже картинки с изображением этих машин.

— Однако, так ладно будет... — согласились пастухи.

— Привези, привези картинки, — просила женщина в цветистом платье.

— Да, да... Привези... Ох, наверно, интересно будет! — заранее восхищались ненцы.

А старый Енчу добавил:

— Только ты, Сэрне, обязательно узнай о танке. Вот внук мой, Енигани, пишет с фронта, что он танкист, а какой такой танк — я совсем не знаю.

При упоминании о Енигани Сэрне слегка прикусила нижнюю губу и долго молча и задумчиво смотрела куда-то через головы сидящих.

Потом Сэрне дала слово пастухам, что их просьбу постарается исполнить как можно скорее.

Беседа закончилась и, казалось, все обошлось благополучно, только Сэрне весь вечер была молчаливее, чем обычно.

...Теперь Сэрне запрягала оленей и думала об этом. Вскоре легкая упряжка помчалась по снежной равнине под сплошной рев разгулявшегося урагана. Все окутала колкая снежная пыль. Олени дышали тяжело и торопливо тянули нарту. В эту минуту Сэрне почему-то представляла себе, что и там, на фронте, вероятно, сейчас тоже неистствует пурга, и он, наверное, как и Сэрне, мчится так же уверенно и охотно сквозь леденящую хлесткую стену на своей стальной упряжке. Он — это Енигани, двадцатипятилетний курчавый ненец, давний и сердечный друг Сэрне.

Его письма с фронта она хранит рядом с комсомольским билетом у самого сердца. И от того, что она думает о Енигани, Сэрне чувствует себя очень бодро, не замечая, как ветер хлещет ее по лицу колючими космами и рвет из рук ее длинный хорей...

В красном чуме приезду Сэрне даже несколько удивились.

Она ни разу не приезжала в такую рань, да еще в такую погоду, когда расходившийся ветер сшибает человека с ног.

— Что заставило тебя так рано пожаловать к нам? — спросил ее заведующий красным чумом, рыжий, коренастый коми.

— А как же... Пастухи наши интересуются — на чем наши бойцы ездят, а я сама хорошо не знаю, да и показать нечего... — торопливо начала рассказывать Сэрне. Девушка говорила, как стыдно было, когда она сидела и молчала, не зная, что ответить, и как потом всю ночь не могла спокойно спать.

— Ох, уж и ругала, ругала я себя... Им-то, может, простительно, а мне-то?.. Я же каждый день бываю здесь, у вас, а вот нет, чтобы поинтересоваться этим, — укоряла себя Сэрне и добавила: — еле дождалась утра.

От чая она отказалась. Просила сначала подготовить ее к следующей беседе, а потом, перед отъездом, попить чайку.

Так и решили. Заведующий ознакомил ее с последними событиями на фронте. Потом рассказал о танке, самолете, бронепоезде, подводной лодке и других боевых машинах и показал картинки — вырезки из газет и журналов.

Сэрне жадно схватывала каждое слово. Подробно сама расспрашивала. Особенно интересовал ее танк.

— Вот этот танк идет в бой, а почему на нем нет людей? — спросила она, показывая на квадратную вырезку из журнала.

— Люди сидят внутри, защищены со всех сторон железом, — разъяснял заведующий.

— Внутри, значит их не видать?

— Да, их не видно!

— Но-о...— недовольно произнесла Сэрне. Она на миг представила бесстрашно мчавшегося на танке Енигани и ей показалось странным, что его не будет видно. Но, подумав, добавила: — а это хорошо, что он от пуль врага защищен.

— Кто — он? — спросил заведующий.

Сэрне покраснела и поспешно поправилась:

— Они, наши бойцы...

— Ну, ознакомилась?.. — кончив объяснять, спросил заведующий.

— Теперь знаю, теперь сумею рассказать... Спасибо вам большое...

— Ну, ну... Только смотри, Сэрне, береги эти картинки Они у меня единственные, а чумов вокруг много, не один ваш.

— Нет, не потеряю... Я скоро верну их обратно.

— Во-во... Обязательно.

Попив чайку, Сэрне поехала обратно. Она положила портфель с картинками под мягкую амдеру, удобно уселась на ней и, балансируя длинным хореем, погнала оленей. Вокруг вся тундра была наполнена оглушительным свистом снежного урагана. Ни неба, ни земли. Свежепролегающий след от нарты тут же сравнивался сыпучей, как сухой песок, снежной пылью и, казалось, нарта стояла на одном месте. А ветер был холодным и колким, обжигал щеки. Но у Сэрне на сердце было легко и радостно. Уж теперь-то она сумеет рассказать об этих чудо-машинах, а главное — она будет показывать картинки. Пастухи окружат ее, будут, как маленькие, тыкать пальцами в картинки и без конца задавать вопросы Сэрне. Тогда она скажет им:

— Да обождите вы. Надо все по порядку рассказать. Вы же не маленькие...

И Сэрне рассмеялась. Она ехала и смеялась. Она мысленно рисовала веселую картину предстоящей беседы.

Так проехала она полдороги, пока не упала с перевернувшейся набок нарты. Но тут же, вмиг, привычным движением руки поставила ее и поехала дальше. Потом она запела сложенную ею самой песню:

Если время настало весне,
Не страшны ей мороз и пурга,
Если ехать мне надо куда,
Не страшны мне мороз и пурга.

Долго пела она, долго ехала. Настало время дать передышку оленям. И тут она увидела, что портфеля нет под амдерой. Сэрне от испуга даже вскрикнула. Ее бросило в холодный пот. Она, не помня себя, поехала назад, к тому месту, где перевернулась нарта. Но уже знала — не найдет. За это время пурга могла занести не только портфель, но и человека. Она ругала себя за то, что не посмотрела

сразу, когда перевернулась нарта. Все, о чём она только что мечтала, пела, что так сильно радовало ее — все мигом пропало, улетело... „Что скажут пастухи, когда узнают, что я вернулась с пустыми руками? Что я скажу заведующему красным чумом?" — спрашивала себя Сэрне. Она плакала от обиды и слезы тут же, на ее щеках, застывали прозрачными льдинками. Девушка бесконечное число раз исколесила то место, где, по ее мнению, перевертывалась нарта. Измучила своих оленей, потом сама долго, до устали ползала, увязая в глубоком снегу. Бешеный ветер кружил над нею снежные хлопья, стараясь и ее укрыть белой холодной пеленой. А все вокруг гудело, свистело, ревело...

И Сэрне решила: „Не найду"... Она, протянув ноги, сидела рядом с упряжкой, а ветер все больше и больше заносил ее снегом, льдинки на ее щеках росли.

И может ветер и ее спрятал бы под снег, если бы Сэрне, посмотрев на небо, по известным лишь тундровику признакам, не определила, что уже полдень, что надо спешить на дежурство.

Ехала она не совсем уверенно. Ей казалось, что едет не в ту сторону, куда надо. Она стала втягивать носом воздух и, когда учуяла дым, немного успокоилась — значит, едет верно.

В чуме все очень забеспокоились, удивились и долгой отлучке Сэрне, и ее заплаканному, печальному лицу и сдержанным ее ответам на многочисленные расспросы. Сэрне сперва хотела было ничего о случившемся не говорить, но обманывать тоже не хотелось, и она рассказала всю правду.

— Ой, беда, большая, ой, беда! — загоревали пастухи, но в то же время успокаивали Сэрне, что портфель весной может найтись, он кожаный, бумаги будут целы.

После обеда Сэрне рассказала на память о последних новостях на фронте и ушла на дежурство. Думала: „Что же все-таки сделать? Портфель до весны не найти. Но беседу провести надо? Надо. Перед заведующим красным чумом отчитаться надо? Надо. Да-а, плохо"... Долго думала, много думала и решила...

С пастухами она договорилась, что беседу о боевых машинах она пока проводить не будет, что постарается сперва достать картинки. Попросила срок три дня. В эти дни она попрежнему ездила в красный чум, потом рассказывала пастухам новости, дежурила, а ночью, когда все спали, сидела и при свете „Летучей мыши" что-то шила. В эти дни чаще всех своими расспросами беспо-

кили ее маленький Ваули да старый Енчу, которым никак не хотелось ждать. А рыжий коми каждый день спрашивал, когда она вернет вырезки из газет (Сэрне об их утере ничего не говорила ему).

И вот на третий день она объявила всем, что вечером будет рассказывать, на чем ездит Красная Армия, и покажет картинки. Все были очень довольны и еле дождались вечера. Сэрне сидела в тесном кругу пастухов-ненцев. Кто-то из пастухов с гордостью рассказывал, что он видел в кино, на чем красные бойцы ездят. Но его слушали неохотно. Ожидали рассказа Сэрне.

К большому разочарованию она сказала, что картин бумажных у ней нет, но тут же разостлала на столе белый кашемировый платок, и все пришли в восхищение: на платке красными нитками были вышиты всевозможные машины. Стол обступили тесным кольцом пастухи. Они восхищались, смеялись, расспрашивали Сэрне и унимали друг друга.

— Кой, кой, кой... Вот этот на моего Енигани похож,— удивлялся Енчу, тыча корявым пальцем в крупный рисунок посредине платка: танк в походе, а на нем молодой курчавый ненец в малице с опущенным капюшоном.

— Эта машина называется танк, — начала рассказывать Сэрне. Лицо ее сияло от счастья. Она говорила не торопясь. Подробно рассказывала о назначении каждой машины. Вокруг танка вышиты самолет, автомобиль, подводная лодка и много других машин, а по краям ненецкие орнаменты, и платок превратился в ковер. Одно не соответствовало действительности — все изображенные бойцы были в малицах. И когда об этом спросили Сэрне, она ответила так:

— Это—чтобы им теплее было. Там ведь теперь тоже зима.

— Вот мастерица наша Сэрне! — хвалили ее.

— Спасибо тебе, Сэрне, — благодарил старый Енчу. — Теперь я знаю на какой машине мой внук ездит.

Сэрне широко улыбалась ему в ответ.

Беседа продолжалась до глубокой ночи. Много было вопросов, разговоров и мечтаний: самим бы поездить на таких упряжках.

Потом, по предложению Сэрне, они решили отдать этот ковер в красный чум. И рыжий коми был очень доволен затеей Сэрне.

Теперь ковер висит в красном чуме на самом видном месте. О нем и о Сэрне слух ходит по всему Ямалу. И ненцы за сотни километров приезжают посмотреть — на чем ездит Красная Армия.

ГЕОРГИИ СУВОРОВ

КОСАЧ

Заря над лесом разлилась устало,
Бой отгремел. С огрызком сухаря
Я сел у пня, винтовка отдыхала
У ног моих, в лучах зари горя.

Я ждал друзей, идущих с поля боя...
И вдруг... Где трав серебряная мгла,
В пятнадцати шагах перед собою
Я увидал два черные крыла.

Потом кривая радужная шея
Высовываться стала из травы.
Рука к винтовке, но стрелять не смею...
Ведь он один на берегах Невы...

Земляк! — И предо мною голубые
Встают вершины горных кедрачей,
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи лесные
Я слышу ранний хохот косачей.

Я опустил ружье. Мой выстрел меток.
Но птица пусть свершает свой полет.
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
—Кто птицу бьет, тот зверя не убьет.

РЫБАКИ

С запада надвигались тучи.

Тени плыли за ними по гладкой поверхности озера, робкие, неуверенные. Оставаясь еще спокойным, чуткое озеро уже зашептало что-то и через минуту-другую таким же легким шопотом ему ответили камыши.

Осторожные гуси поднялись в воздух, построились в треугольник и, быстро, без лишнего шума, полетели вслед за вожаком в поля.

Вскоре тучи потемнели: фиолетовый оттенок разливался в них изнутри все больше и больше.

Ветер все крепчал, и озеро и камыши загудели тревожно и глухо.

С гомоном заметались в разные стороны стаи легкомысленных уток. Ветер подхватил и понес, словно лист лопуха, несуразную сороку.

Потом озеро сразу потемнело, заволновалось, на волнах его взметнулись беляки. Камыши, под неистовым напором ветра, пригнулись к воде.

Озеро опустело, ветер хозяйничал на нем.

Только разбойный мартын все еще не выпускал непосильной добычи; с ожесточением он рвал сеть, вытаскивая из нитей большую серую рыбину, непрестанно размахивая белыми крыльями.

Дед с внучкой скрылись в заводи, жалом впившейся в высокий западный берег. Весной по глубокому оврагу в заводь впадала мутная речушка Засоруха, но вот уже с месяц, как она пересохла и заводь вся наполнилась прозрачной озерной водой.

— И завсегда мы с тобой, Настя, успеем выбраться во-время! А нашим-то вот — сидеть в камышах: не успеют они через горло пролезти!

На старике были брезентовые штаны, рубашка без пуговиц, с воротом всегда распахнутым и засаленный треух.

Пороховой ожог зачернил всю правую сторону его лица.

Рыбаки втащили на берег плоскодонку; глубоко увязая босыми ногами в глине, перенесли на сухое место рыбу в корзинках, сплетенных из зеленых прутьев тальника, и сложили ее в яму, которая служила погребом. Потом дед закурил из кожаного кисета, который он вешал на шею, чтобы не подмочить.

Настя сказала:

— Сети развешивать не будем: все равно дождь! — и пошла прикрыть их в лодке куском брезента.

Насте недавно минуло двенадцать лет, но она уже не первый год рыбачила с дедом.

У нее тонкие руки, с небольшими, по-мальчишески плотными мышцами, лицо, с которого, кажется, вот-вот улетит детская серьезность и вздернутый носик вздернется еще больше.

Через несколько минут дед и внучка сидели в землянке. Тонкие березовые прутья с листьями, еще не успевшими завянуть, свешивались с потолка.

Настя неожиданно сказала, вздохнув:

— Вот как бы крокодилов к нам в озеро — они бы всех поели: и людей и рыб.

Дед ничуть не был удивлен неожиданным замечанием и, не задумываясь, ответил:

— Тут бы им и конец! Крокодилы — тоже жрать хотят. А на этом самом всякую тварь, самую хитрую, можно поймать. Завсегда можно изладить какую-нибудь холеру и ловить на нее. Лебедей на крючки разве добывают?! Сам бы раньше не поверил! А вот нехватает припасов и ничего — ловлю!

Береста трещала в печурке, свертываясь в черную спираль.

Настя принялась чистить жирных карасей... Караси продолжали дышать, лишенные внутренностей...

А кругом все гудело — озеро, камыши, лес. По крыше ударил косой дождь и сюда, за увал, принес его шальной ветер.

Дед сел на топчан, навалился спиной на стену, вытянул ноги и голову нагнул набок, по-голубиному, и продолжал рассуждать:

— Человека только человек обмануть может! И то, время правду кажет! И тебе советую: живи без обмана...

— Сама знаю, — уверенно сказала Настя и с шумом бросила сковороду с рыбой на раскалившуюся плиту.. — А ты лучше скажи, крокодилов живых видел, аль нет? Только правдишных!

— Было и такое дело... В японскую я с одним — Темляковым Семеном звали — лечился в Иркутске. Мы с ним вместе под Мукденом...

— Хватит тебе, дед! Все про войну, да про войну: слышала уже обо всем!

— А не хочешь — не слушай... Это тебе оглянуться некуда, а у меня три войны в жизни!

Еще они поворчали друг на друга. Настя с детским упорством, Прохор не торопясь, с чувством — и разговор возобновился. Только перечислив целый ряд событий своей жизни: контузию под Мукденом, ранение под Лодзью и другие, менее примечательные, называя имена, города и дороги по вехам в своей памяти, — дед добрался, наконец, до Москвы и московского зоопарка, где смотрителем служил его друг Семен и где впервые увидел он крокодила.

— Скотина ужасная и вовсе бессовестная — чисто фашист!

Деда подхватили теперь воспоминания и понесли по своим изведанным, бесконечным путям, как вдруг Настя, взглянув в оконце землянки, перебила его:

— А на озере-то — человек!

Оба они внимательно всматривались через мутное стекло и завесу дождя, и старик принялся ругаться:

— Он, подлюга, сетки нашего Алексея шарит! Ей-богу! Вот это расчет: в такую погоду никто его не переймет. Тащи на глазах! И у кого: у инвалида. Ну... крокодил! До чего бессовестная морда — не признаю издаля, чья такая!

— Утонет он, дед, ей-богу! — сказала Настя. — И видать, парнишка небольшой!

— И утонет заради баловства, — согласился дед и беззлобно добавил: — так ему и надо, подлецу — ворюге...

В окно видно было, как лодку бросало с волны на волну и человек — в самом деле небольшой — лежал в корме и держался руками за буек сети как раз там, где еще недавно разбойничал хищный мартын.

— Утонет на наших глазах паршивое отродье, — и дед одел треух. — Кто такой — разве сейчас узнаешь. Идем, Настя, спасать придется.

Они выбросили из лодки сети прямо на землю и быстро поехали по спокойной бухте.

Настя сидела в корме и подбородком прижимала выцветшую косынку, которую она не успела повязать как следует.

Дождь стих на время, а ветер гудел наверху с прежней силой.

Дед греб не оборачиваясь и сердился на внучку:

— И все ты глазеешь по окошкам! Ну, не видели и не видели, только и делов, туда и дорога вору...

Лодка шла все быстрее навстречу гудящим волнам, и вдруг при выходе в озеро на крутом повороте ее подхватило и бросило в камыши на отмель, где вода была черной от взмученного в ней ила. Попробовали оттолкнуться веслами — они тонули в вязком дне; пересечь бухту против бешеной силы ветра было невозможно. Старик положил весла на дно лодки:

— Все! Уж я знаю эту чертову трубу: не в первый раз! Как задует с заходу — в горло зайдешь, а отсюда через поворот — и не мечтай! Чисто карась в морде! Ну, что ж! Вина не наша, раз сила не берет! Не видать его отсюда? Утонул, может.

— Дедушка, а наши-то — вот они. Вот у подберега в камышах! — закричала вдруг Настя. — Да, как же ты не вилишь? Гляди через заводь. Маруська машет, отец и то малость поднялся.

Когда камыши сгибались особенно низко, над ними поднималась Маруся — старшая внучка Прохора — и махала над головой и на голову опускала ладонь.

Это значило: человек на озере нет нет да и скроется под водой. Дед понял, безнадежно развел руками. Так они разговаривали друг с другом в те секунды, когда ветер сгибал камыши. Прохор волновался все больше и больше, он вставал на борта и лодка черпала воду. Настя не успевала отливать ее старой эмалированной чашкой, зажимая двумя пальцами дырку в темном донышке.

— Нешто послать вас за ним?! — сказал дед, глядя в сторону Маши и Алексея, как будто те могли его услышать. Грязное лицо деда выражало смятение. Он сорвал с головы треух и потянулся вверх, словно хотел через камыши взглянуть на сына и внучку и убедиться, что они сумеют справиться с волнами.

— Ты что — ошалел, старый?! — подняла голову Настя и перестала черпать воду. — У отца-то мозжечок! Встать не может — куда же ты его!?

— Управится! Рулит он ровно здоровый, а встать ему и незачем! Тонет, ведь, человек!

— Сам виноват! Вор!

— Дура!

1116603

— Да ты сам-то... Что ты делаешь!

— Виноват! Вор! Котелок карасей — его вина! А наша какая будет, ежели он утонет?!

И когда снова камыши пригнулись и показалась Маша, дед отчаянно замахал руками в сторону озера. Маша кивнула и опустилась... И потом через узкую горловину заводи видно было, как лодку подхватили волны и Маша гребла, откидываясь спиной чуть не до бортов. В корме правил Алексей. Козырек красноармейской фуражки надвигался ему на глаза.

Настя закричала:

— Не утоните! — и заплакала. А дед схватился за весла.

— Не реви! Толкайся! Обратно поедем, от землянки их виднее будет!

И они заторопились, как если бы поехали помогать своим на озеро. Камышами они проделали обратный путь, пересекли заводь против землянки и навстречу ветру выбежали на увал.

Задыхаясь, Настя сказала:

— Утонут. — И снова заплакала.

— Не дури! — отозвался дед. — Не мели языком-то: „У-то о-нут".

Настя сразу переменилась в лице:

— И то, пожалуй, теперь беспременно выплывут! В лодку его кладут, гляди! Ух, качает-то, качает!

А Прохор засомневался:

— Все-таки больной — не здоровый! Замутит Алексея на волне. Через такую войну прошел, а я его на погибель пихнул, старый дурень!

Так стояли они на ветру под дождем и, затаив дыхание, смотрели, как лодка хитро выскальзывала из-под тяжелых волн, то и дело нацеливающихся для губительного удара по утлой посудине. Когда же стали уже видны лица сидящих в лодке, дед закричал:

— Топить надо подлеца, топить! Знать бы, что это Мишка, бесстыжая морда, — стоило самим рисковать! Топи его, Маруська!

Мишка был одногодок Насти, белоголовый и голубоглазый — таких на деревне среди ребят добрая половина. Он первым выскочил на берег, принял от Маши веревку, подтянул лодку и, улыбаясь, отошел в сторонку...

Маша крепко толкнула его в плечо:

— Бежать?! Подожди — отвечать будешь! — На лице мальчугана застыла смешная улыбка.

Алексея тошнило, синеватая бледность делала его похожим на утопленника. Его подхватили вчетвером подмышки и за ноги и унесли в землянку. Он лежал на топчане продолжительное время неподвижно, потом повернулся со спины на бок и глухо сказал:

— Мутит меня, нет спасу... Вложь-ка, отец, этому щенку...

Тяжелому молчанию в землянке был положен конец: всем стало ясно, что Алексею полегчало.

Маша поправила отцу подушку, сказала:

— Куда он денется — успеем. Ты лежи — не шевелись.

Прохор с помощью Насти выжимал рубаху над жестяным тазом и рассуждал:

— Доктор сказывал: покой надо с такой болезнью! И то правда: стоять не может, ходить не может! Ну, в ведро еще кое-как можно промышлять... Раз сидеть разрешается... А на волне-то и замутило...

Настя, крепко зажав конец дедовой рубашки, озорно поглядывала на Мишку.

Алексей снова потребовал:

— Вложь, говорю, ему, чтобы морщился. Войну выжил, а из-за пацана чуть было не кончился!

Мишка, сидя в углу, не поднимая головы, пробурчал:

— Не имеешь права! Поймал — веди в Совет! А бить не имеешь права, не разрешается!

— Ах, не разрешается! — завопил дед, натягивая через голову мятую рубаху.—Я вот тебе устрою совет! Сниму лопатину, да при левках!

— Не имеешь права! Ишь ты — жандарма какая! Веди к председателю в Совет — там разберемся!

Прохор подошел к Мишке, спокойный тон его не предвещал ничего хорошего.

— Разберемся!—сказал он. — Разберемся! Во-первых, я, видать, постарше тебя буду. Что ты меня тыкаешь? Во-вторых, орла вы бессовестная, сладу с вами нет! Отцы на войне, матери на работе, а вы совсем от рук отбились! Пошел воровать, и кто? Мишка Черников, Николая Черникова сын! А?! Да ежели отец жив, да узнает это— так он меня молить будет, чтобы я тебе вложил, да так, чтобы ты до седых волос чесался! В-третьих... Машка! Хворостину! Да не эту, не эту! Теперь слушай: неужели бы я тебе рыбы на варево не дал, если бы ты по-доброму у меня спросил!? А то обязательно надо украсть! И у кого? У контуженного калеки! Настя напишет отцу твоему на фронт!

Мишка встрепенулся:

— И врешь! Я к Алексею не лазил! Я к те... к вам! А лазил я по спору с ребятами! Обшарю, мол, у Прохора сетки. Давно поспорил. А ты ни днем, ни ночью не спишь: вот и пришлось погоды ждать!

— Ой, Мишка! — еще больше рассердился Алексей, приподнимаясь на локте. Уж лучше сам проси старика: у него все-таки рука легче. Возьмусь я за тебя — мало не будет! За сетки тебе надо, за сетки еще вложить! Сетки из-за тебя не подняли, на третью ночь остались в воде — сгниют!

— Дали слово полтораста процентов добыть, — сказала Маша сердито, — а три сетки через тебя оставили!

— Крокодил ты, Мишка, — вступила и Настя в общий хор негодования. — Так тебя и звать будут теперь в деревне до самой смерти.

— Крокодил и есть, — подхватил дед. Узнаешь ты у меня науку, крокодил!

Дед распалился не на шутку. Он схватил Мишку за шиворот и принялся хлестать его что было силы.

* * *

Поздняя летняя ночь пришла вслед за бурей раньше срока. Луна скупо освещала истерзанные тучи; иногда холодным блеском сверкали волны озера, тяжело мятущиеся, словно в бреду; иногда на высоком западном берегу виден был лес, березы гнулись над яром, тяжелые тучи наваливались на них...

В рыбачьей землянке мерцал тусклый огонек и дед Прохор, подолгу прислушиваясь и вздыхая, уж не в первый раз говорил:

— Надолго взыгралось! Суток на двое! Пропадут сети!

Алексей, полулежа, вил бичевку, закрепленную противоположным концом за сучок на потолке. Маша вязала теплые чулки из шерсти. Настя лежала в углу на брезенте и сквозь дремоту слушала знакомые голоса.

Дед сказал ни к кому не обращаясь:

— Боевой...

— Куда там! — согласно ответил Алексей.

— Без присмотра растут, — чисто орда!

— На фронте, бывало, про своих вспоминал: избалуются. Вернулся — вижу все в порядке.

— Девки правильные, что и говорить! Да. С ними легче, с девками. С такими вот сладить попробуй, с Мишкой!

— Здорово ты его, однако, отходил, отец?

— Пожалуй, что сгоряча.

— Упрямого этим не возьмешь — уговором надо...

— А вот возьми, Леша, парнишку во внимание. Отец-то вернется — спасибо скажет. Натура в парнишке правильная — свое возьмет.

— Верно... Ему бы годов пять набросить — какой бы был солдат!

— И не говори! — широко махнул дед рукой.

— Из фрицев мартышек бы делал подряд... Давал бы им жару... Трусости в нем — ни капли. Тащим его с Маруськой в лодку, а он: „Пустите — не ваша забота!"

Алексей закрепил свой конец бичевки за топчан, а сам все еще двигал пальцами так, словно продолжал вить ее.

— В феврале прошлого года взял я одного языка — по-русски знает... „Холод, говорит, холод!" Я ему: „Дурень, ты же меня со своей позиции как чучелу мог снять, без промаха!" А он: „Я, говорит, уже четырнадцать часов не кушал, шесть часов мерзну, и мне не до этого!" А вот попробуй, возьми такого Мишку живьем!

— Не дастся, — уверенно подтвердил дед и потом, похлопав себя по карманам и по груди, озабоченно забормотал: — И куда кисет девался? Давай-ка, сынок, твоего закурим!

Он пересел на топчан к сыну. И выпуская клубы едкого дыма, отслужившие солдаты погрузились в воспоминания.

Сначала Алексей рассказал о Ростове-на-Дону, потом Прохор начал повествование о Перемышле:

— Знаешь, парень, у нас шестьдесят третий корпус, двадцать первая дивизия. Наш третий полк, рота капитана Шибанова — все чисто сибиряки. Так вот Чупрунов Василий был у нас в этом взводе, Каинского уезду...

От порывов ветра шуршали на потолке подсохшие березовые листья.

Алексей с Прохором все вели разговор, смеялись, громко подавали команду, хлопали себя по коленям.

Забыты были невзгоды прошедшего дня, незамеченной оставалась наступившая темная бурная ночь.

Перед сном Настя вышла из землянки и, ежась от холода, накрыла мешками корзины с рыбой. И вдруг из кустов вышел Мишка и сказал:

— Настя! Подь-ка сюда!

Настя испугалась и хотела убежать, но Мишка остановил ее повелительным тоном взрослого:

— Стой! Чего испугалась? Ну! Поди сюда, говорят!

Нерешительно Настя подошла к нему и Мишка договорил:

— Сеть я вашу, Алексееву сеть привезу! Перед светом поеду. — Он прислушался к гулу озера и снова подтвердил.

— Привезу и около заводи, знаешь у коряжины — там брошу. Где же мне ее развесить — это уж сами!

— Сдурел ты, что ли! — удивилась Настя. — Снова спасать тебя в бурю! А потом снова тебя отец с дедом отходят!

— Много ты понимаешь! — басовито сказал Мишка. — Для этого тебя и ждал, все жданки потерял! Скажешь своим, что сеть это я привез. А ежели до света не управлюсь, да увидят, — скажешь, зачем я поехал. А то обратно подумают, поехал шариться! И спасать ни-ни! Не думайте! И ты не вздумай тоже раньше времени брехнуть своим, что поехал, мол, Мишка за сетями. Поняла?

— Поняла... А как же ты ночью?! Да один?

— Найду! Я под утро... Не один я — с другом...

— С кем?

— Много будешь знать...

— А я знаю!

— Откуда?

— Знаю: с Гусевым, с Ванюшкой. Отгадала!?

— Ишь ты! Верно, отгадала! Гусь! Гусенок! Фью! Иди сюда!

Еще одна небольшая фигура появилась из кустов и, громко фыркнув носом, сказала:

— Холодно чтой-то, ровно осенью! Ехать надо: там в работе теплее.

— Утонете вы, ребята! — сказала Настя и вздохнула: — ей-богу! Это здесь тихо, а на озере... Слышишь!?

— Знаем! — сказал Гусь. — Мы к лодке два бревна с каждого борта приладили. Третьягоднишние бревешки, сосновые, с колхозного стану прикатили! Легкие, сухие — что твои поплавки! Сроду не утонем: знай держись за их. Буря-то не навек — куда-никуда вынесет, если перевернемся. Концы веревочные есть, привяжемся к бревнам и айда!

— Точно! — подтвердил Мишка. — У нас все налажено!

— А лодка чья? — не унималась Настя с расспросами.

— Лодка? У Тимофея-пастуха угнали! Зачем она ему

в непогоду? В случае чего — в сельсовете разберемся, ему-то уж потакать не булу. Вишь, Алексей-то, отец твой — калека, фронтовик, как с им спорить?! Ему не докажешь! А теперь вот я с себя смыть должен это дело! Они, — Мишка махнул рукой в сторону землянки, — долго еще меня ругали? Крокодилом-то обзывали еще?!

— Отец говорит про тебя: „Против такого, говорит, ни один бы фриц не устоял! Уничтожил бы, говорит, каждого вот такой парнишка".

— Честное слово!?

— Ну вот, чего мне врать!

— Поеду! Я еще думал у твоего дедки все крючки на лебедей поободрать, не знал, что и делать: то ли сеть вытащить, то ли навредить. А теперь поеду за сетью! Определенно! Сгниет сеть: третьи сутки в воде!

— А что, Настя, — спросил Гусь, — однако, Прохор с Алексеем дали Мишке жизни за карасей-то? А?

— Ругали здорово, — ответил Мишка сам.

— Здорово ругали, — подтвердила торопливо Настя. — А больше-то что? Больше то ничего! Бить хотели — он не дался! Пойдем, говорит, в Совет! Так и не дался, убежал!

Гусь снова громко фыркнул и заторопился:

— Ну, айда! — И, повернувшись, пошел по склону вниз, к камышам. Мишка все еще медлил. Он взял Настю за рукав.

— Ну то-то. Прощай! Значит, что своим сказать поняла? Смотри! Прохор-то шальной старичишка — кабы снова спасать не кинулся! В мирное-то время он бы на завалинке грелся...

— Мишка! — позвал Гусь из темноты. — Долго я дожидать буду?!

Через минуту нарочито громкие голоса мальчуганов потерялись в бурных камышах...

Настя еще долго стояла и смотрела в темноту, пока озноб не встряхнул ее.

Тогда она вернулась в землянку, легла в своем уголке и стала смотреть в темноту. Она лежала долго и потом почувствовала, что плачет: ей было страшно за Мишку. Она подумала: „Разве он крокодил? Совесть у него вон какая!"

И тут она услышала, как дед Прохор встал на своем топчане, потом он вышел ненадолго из землянки, вернулся, снова сел и сказал, наконец, самому себе:

— Наворожил, старый чудак, бури-то на двое суток. А вот, помяни мое слово, — через час-два и все стихнет!

БЕССОННИЦА

Когда, взмахнув своим крылом мохнатым,
Ночь опускается над стынущей землей,
Я в одиночестве припоминаю даты
Далеких дней, проведенных с тобой.

Я помню вечер—от залива плыли
Нагроможденные, крутые облака...
Наш Ленинград, которому пока
Ни голод, ни снаряды не грозили...

Впервые мы с тобой шагали рядом
По мостовой в витом узоре шин.
Обычный гул стоял над Ленинградом:
Звонки трамваев и гудки машин...

Потом другие выплывают даты—
Мне часто снится кавголовский дом,
Спуск к озеру, поросший и покатый,
Поля ромашек на пути моем.

Как, пробираясь сквозь шиповник дикий,
Мы ищем сына. Вот он к нам идет,
И щечки загорелые и рот
Измазаны лесною земляникой.

Все это было. Было все, пока
Над головой снаряды не свистели,
Пока войны жестокая рука
Не отняла все то, что мы имели...

Сейчас, родного лишены угла,
Мы чаще плачем, изредка смеемся,

Но все-таки разлука не смогла
Нас разуверить в том, что мы вернемся.

Да, мы вернемся, чтоб сказать: „Земля,
От грохота и дыма отдохни-ка...
И там, где танком вспаханы поля,
Пусть в травах заалеет земляника.

И пусть глядит наш выросший сынок
На все, что возвратить ему сумели,
— Недаром твой посеребрен висок
И пули след на выцветшей шинели...“

Когда, взмахнув своим крылом мохнатым,
Ночь опускается над стынущей землей,
Я знаю, близок час, когда ты
К нам постучишься дрогнувшей рукой...

АННА СБИТНЕВА

НАЧАЛО ЖИЗНИ

В 1943 году, августовским ранним утром, к пристани одного из рыбокомбинатов, расположенных на верхней Оби, причалило самоплавом несамоходное, до отказа наполненное рыбой судно-паузок № 30.

Случай этот был необычный. До сих пор паузки буксировались катерами. На самоплав никто не решался. И не удивительно. Судно это, наполненное рыбой, весит пятнадцать тонн, а кроме руля на нем нет никаких приспособлений для самостоятельного хода.

Однако паузок № 30 прошел самоплавом двадцать пять километров, сначала вниз по быстрому Трю-Югану, потом по Оби.

На обеих реках ему надо было миновать омуты, карчи и пройти по нескольким быстретям.

Привела паузок кормприемщик Феоктиста Панова. Она решилась на самоплав потому, что рыбаки раньше срока сдали ей улов, а катер мог прийти на стоянку только через пять суток; дни же стояли жаркие, хранить рыбу было трудно.

На пристани мастер цеха, приняв паузок № 30, немедленно отправился сообщить о событии капитану заводского флота, а тот удивленный и восхищенный поступком кормприемщика доложил директору рыбокомбината.

Через час после прибытия паузка на доске объявлений появился приказ. Директор благодарил кормприемщика и награждал его денежной премией. Капитан флота пошел на пристань сказать о нем кормприемщику и поздравить его.

Паузок № 30 разгружали. По деревянному наклонному помосту грузчики катили тачки и несли носилки: вверх, к заводу — наполненные рыбой, вниз, к дебаркадеру — порожние. То там, то здесь раздавался веселый и грозный крик „Бойся!".

Рыба на пристани в обилии воздуха, света и пространства выглядела необычно: темнозолотыми были жирные спинки язей, сырки и нельмы, у которых каждая чешуйка отсвечивала по краям; даже щуки на солнце теряли свой скучно серый змеиный цвет.

На каждой из женщин-грузчиц (их было больше чем мужчин) одето что-нибудь яркое: платок, платье, шаровары, косынки на плечах, или лента, поддерживающая волосы.

Игра красок, создаваемая движущимися фигурами грузчиц, тачками и носилками, наполненными рыбой, подчеркивалась сверканием воды. Круговорот людей от дебаркадера к заводу и обратно казался своеобразным массовым танцем.

Третий год войны, третье лето, как появились женщины-грузчицы и изменили облик пристани, а капитан не может привыкнуть к перемене и, приходя сюда, все еще невольно отмечает ее, как будто видит в первый раз.

Кормприемщика не было ни на палубе, ни в каюте. Капитан заглянул в уже освобожденный от рыбы первый люк и позвал:

— Товарищ Панова! Феша!

Через несколько секунд из люка поднялась на палубу девушка. Небольшого роста, в черной узкой юбке, в светлой блузке, в белой косынке, она была незаметной рядом с одетыми в цветистые шаровары и платья грузчицами. В руках она держала швабру, которой только что мыла люк. В тихих серозеленых глазах Феши стояли слезы. Она совсем недавно перестала плакать, и кончик носа и щеки были еще красными и припухшими.

Утром, когда Феша закрепила паузок на чалках у дебаркадера и доложила о причине, заставившей ее пойти самоплавом, к ней подошел мастер цеха уборки.

— Феша, — сказал он строго, — говорят, ты принимаешь рыбу без веса. Сидишь себе в каюте да только спрашиваешь у рыбаков, сколько?..

Еще взволнованная трудностями необычного плавания, Феша заплакала. Плача она следила за выгрузкой, мыла люк, давала распоряжения матросу.

„Нет, — думала она, перебирая в памяти лица рыбаков, которых обслуживала на плесе, — нет, никто из них не мог сказать, будто я принимала рыбу на-глаз". И все больше огорчаясь незаслуженной обидой, Феша плакала долго, до тех пор пока мастер уборки снова полошел к ней и объяснил, что сказанное им было шуткой. Феша перестала плакать, но настроение оставалось грустным.

Слушая капитана, Панова смотрела на него печальными глазами. А когда он поздравил ее, она только кивнула головой, произнесла „хорошо“ и полезла обратно в люк. Казалось, она привыкла к поздравлениям, и они надоели ей, утомляют ее. Но это только казалось. Слова капитана не дошли до Феши.

Феша не ждала славы. Путешествие без катера не казалось ей героическим. На Трю-Югане, у карчей паузок кружило и Феша боялась наскочить на них. Она понимала, что если судно ударится о карчу, то неминуемо получит пробоину и пойдет ко дну. Ни она, ни матрос плавать не умели.

Предупрежденная об омутах на Оби, Феша прикрепила веревками к бортам паузка сваи. Не переставая, гребла она ими у опасных мест сама и заставляла грести своего матроса.

Ленивый, недисциплинированный, но уверенный в себе, в своем превосходстве матрос паузка № 30 Иван Слинкин обычно злоупотреблял мягкостью характера Феши и сваливал на нее добрую часть своих дел.

Но на этот раз он был послушным и работал безотказно.

И Феша и матрос к концу путешествия переволновались и устали.

Подплывая к рыбокомбинату, Феша думала лишь о том, будут или не будут ругать ее за самоплав, за то, что она не воспользовалась формальным правом ждать катер.

На стоянке рыба могла перейти во второй и третий сорт, могла и вовсе погибнуть. Это было бы неприятно, больше того — плохо, но кончилось бы для Феши только составлением акта на испортившуюся продукцию.

Феша боялась выговоров, волновалась даже тогда, когда замечания делали не ей, а другим. И, не зная еще, что „победителей не судят“, она опасалась выговора за риск. Вот почему в шутливых словах мастера цеха уборки, обвинявших ее в недобросовестном приеме рыбы, она не почувствовала шутки, окончательно разволновалась и расплакалась.

* * *

Решаясь на самоплав, Феша хотела выбрать и для себя и для завода из двух зол меньшее. Незадолго до этого ей пришлось девять дней ждать катер. С шестого дня ожидания Феша почти перестала спать. Она часто заглядывала в люки, вслушивалась в поднимавшийся из

них воздух, брала в руки щук, осматривала их, нюхала жабры, пробовала крепость мяса. Она прибавила в люки, сколько можно было, соли и льда. Но катер не шел, и она ломала голову, придумывая, как ей предохранить рыбу от разложения. Феша постоянно вглядывалась в даль реки, в сторону, откуда должен был прийти катер.

„Нет, — говорила она себе, — не буду смотреть так часто, пойду наберу черники полный кузовок, натаскаю хворосту, потом посмотрю".

Собирая ягоды, она думала: „Где он теперь? Если у Гордешкиной протоки, то, пока я наполню кузов, он выйдет из-за кривляка", — и она забывала о своем решении не смотреть на реку и выходила из леса.

Потом она стала взбираться на самый большой, прибрежный кедр. Оттуда ей видны были четыре поворота на Трю-Югане. Маячившие карчи, гагары и лодки обманывали ее. Приходила и удалялась та самая минута, когда по внутренним расчетам Феши точка, принимаемая ею за катер, должна была превратиться в него. Утомленная и расстроенная ожиданием Феша спускалась с кедра.

В эти дни матрос вовсе перестал исполнять свои обязанности. Феша и не заставляла его работать. Сама скребла и мыла всю палубу так, что даже песчинки не задерживались в неровностях дерева. Она делала уборку в положенное и неположенное время, перетерла и перемыла все в каюте. Три, четыре раза в день она готовила еду, которую почти целиком съедал Иван.

Феша даже боялась, что матрос соскучится и возьмется за работу, боялась остаться без дела. Но опасения Феши были напрасны.

Ивана не угнетали ни ожидание катера, ни безделье, которому он с наслаждением предался. Часами лежал он на койке в каюте. Перечитав все обрывки газетной и книжной бумаги, захваченной им с собой на курево, он стал читать их снизу вверх и справа налево. Запомнив и в таком порядке почти все сочетания букв, он оставил это занятие и принялся через открытый люк каюты следить за Фешей.

Все, что делала Феша, Иван считал лишенным смысла. Он сравнивал ее с собой и другими, и результат был не в ее пользу. Сам Иван ничего зря не делал. Ему хотелось стать капитаном, или, как их еще здесь зовут, старшиной катера. Пока он был только матросом, да и то на пузке, похожем на настоящее судно еще меньше, чем планер походит на самолет. Но Иван не терял надежды стать

тем, чем хотел. Впереди были курсы водителей, но уже теперь он не упускал случая постоять за штурвалом. И за то, что капитан „дядя Миша" разрешал ему в пути находиться на катере и позволял на безопасных местах управлять рулем, он готов был сделать для него любую работу и при встречах не забывал поднести ему лучших язей, сорог или трепещущих белых щук.

„Дядя Миша" — капитан катера „Авангард революции" — был идеалом Ивана. Катер „дяди Миши" не садился на мели, не наскакивал на карчи, и не простаивал в пути из-за поломок машины.

Катер „дяди Миши" привозил рыбакам — оседлым и кочевым ханты и русским — письма, новости, хлеб, продукты, приводил паузки с плохим или хорошим приемщиком рыбы. Катер всегда мог захватить с собой того, кто хотел попасть в район, или перебраться рыбачить на другое угодие.

На тысячи километров вокруг самой верной дорогой была река, а самым скорым средством сообщения — катер, приходивший раз в неделю, в две.

Ивану казалось: „дядя Миша" плывет по реке и все на берегу подчиняется ему, все ищут его дружбы, стараются ему угодить.

В мечтах Иван видел себя в рубке, за штурвалом, посасывающим трубку, отдающим приказания в машинное отделение: „Тихий, самый тихий, стоп! Вперед, полным!"

Он представлял себя с рупором на борту; басовым, солидным голосом отвечает он тем, кто на берегу, кто ловит каждое его слово: „Приготовься, буду через три дня".

Фешу Иван не уважал за то, что не было у нее скрытых „себе на уме" мыслей. Ее прямота казалась ему глупостью, а в дни девятидневной стоянки Фешина старательность даже стала раздражать его.

Насмотревшись однажды на то, как Феша хлопочет, Иван встал с койки, вылез из каюты, сел на бочку с солью и, потянувшись, спросил:

— Ты, Феша, из-за чего бьешься? Другие кормприемщики в сто раз меньше тебя шевелятся, а им все — и почет и уважение, и дома рыба на всю зиму отборная лежит. А ты даже на берегу с начала навигации не бывала. Чего ты трясешься над рыбой? Ведь с тебя теперь и спросить никто не имеет права. Девятый день стоим с полным паузком, жарища! Так хоть пополам разорвись — рыба должна испортиться.

— Нет, не испортится, не допущу, — ответила Феша.

— Разве с тобой поговоришь? Дура! Для чего ты вообще стараешься, какая тебе от этого польза?

Иван сплюнул и повернулся к Феше спиной, уверенный, что она не сможет ответить ему.

— Сам-то ты дурак, — беззлобно заговорила Феша. — У меня четыре брата коммунисты. Один убит, а трое на фронте. Они до войны тоже хорошо работали. Один пять лет председателем колхоза был, другой — комбайнер, третий — тракторист, а Петя — его убили фашисты — учился. А мать умерла. Ей шестьдесят семь лет было, а она ударницей в колхозе числилась, книжку имела. Мне нельзя плохо работать, ла я и не люблю...

— Четыре брата такие, как ты? — повернулся к ней Иван. — Чтобы мужчина и такой, как ты, — не поверю.

Иван рассмеялся и потерял интерес к начатому им разговору.

* * *

Награда Пановой за самоплав смутила Ивана. Заколебалась его уверенность в себе, в своем превосходстве. „Дуракам счастье, — успокаивал он себя. — Просто ошибка. Подумаешь, герой! Испугалась, что опять девять дней катер не придет, вот и пошла самоплавом. И всю дорогу тряслась, глазища вылезли: „Давай, греби! Давай, греби!" Даже меня напугала. Г-е-р-о-о-й!", — повторял он иронически.

Но факт оставался фактом: наградили Фешу, а не его. Он три раза бегал к доске объявлений, перечитывал приказ, произнося вслух: „Директор рыбокомбината Русанов". — Подпись директора казалась ему сегодня особенно почетной, и честолюбие Ивана клокотало и будило острую зависть к Фешиному успеху. Растерявшись, Иван несколько раз принимался помогать Феше, а когда она присела отдохнуть, спросил ее:

— Ты чего теперь делать будешь?

— Как чего? — не поняла его Феша.

— Ну хотя бы, на берег попросишься? Я бы, например, обязательно отпросился на ночь распить четушку спирта.

— Сопля! — засмеялась Феша.

Она смеялась добродушно, но Иван почувствовал в ее смехе ту непонятную ему силу, которая появлялась иногда в словах у Феши и заставляла его безоговорочно подчиняться девушке.

Разговор с Иваном о премии переломил настроение

Феши. Она сходила и прочитала приказ, зашла к капитану и спросила его, когда получит премию, и веселая вернулась на паузок.

Недавно у Феши возникло одно желание. Но она не говорила никому и не знала, как его осуществить. Теперь, после приказа и разговоров с Иваном и начальником она почувствовала в себе смелость попросить о своем, о личном, о чем раньше только мечтала. Она хотела переменить работу, перейти на разделку рыбы, или на разгрузку, пусть даже к тачке, или куда-нибудь еще, только бы не оставаться кормприемщиком.

До сих пор Феша не выбирала и не пыталась выбирать себе профессию. Окончив семилетку, она была готова трудиться, где угодно. Работала пожарником, разделыщицей, сторожем, весовщицей...

Прошлой зимой ее отправили на заготовку льда для рыбоприемных пунктов. Там Фешу заметил капитан завольского флота. Он видел, с какой готовностью она бралась за любую работу. А капитану нужны были к весне честные, трудолюбивые грамотные люди на должность приемщиков рыбы, и он добился отправки Пановой на курсы кормприемщиков.

Училась Феша охотно и хорошо. Но после первого же рейса на паузке поняла, что кончилась ее счастливая жизнь. Время, когда она наработавшись, беззаботно, не успев даже улечься поудобнее, засыпала, казалось безвозвратно утраченным.

На паузке Феша впервые столкнулась со всей сложностью взаимоотношений в процессе труда. Рыба поступала на паузок неравномерно. Ее надо было не только тщательно взвешивать и хорошо обрабатывать, но и своевременно доставить на завод. А катер часто сбивался с расписания, опаздывал.

В работу Феши вмешивалась и погода и общее состояние дел на заводе.

Раньше, когда Феша была раздельщицей, случаи порчи продукции тревожили ее. Узнав, что на пристани выгружают разложившуюся рыбу, она в этот день, как и другие работницы, ни о чем другом не могла думать и говорить, стараясь установить, кто же виноват в гибели 2—3 тонн рыбы. Теперь на паузке, где рыба подвергалась первичной обработке—замораживанию —от которой и зависела в основном доброкачественность сырца, Феша находилась в постоянном волнении и страхе. Тщательнее других приемщиков мыла она люки своего паузка, обязательно дезин-

фицировала, и всегда, отправляясь в рейс, брала с завода полную норму льда и соли.

Она похудела, потеряла аппетит. Хлебная карточка оставалась нетронутой по нескольку дней. Иван, одалживающий у Феши хлебные талоны, посмеивался над ней, уверяя, что она влюблена в паузок.

И вот теперь, когда Фешу премировали, она решила вернуть себе прежний покой. Заканчивая уборку паузка, она обдумывала, что сказать капитану. Говорить ли ему сначала о том, как тяжко ей сейчас работать, как хочется опять быть беззаботной, не бояться, что испортится рыба, или лучше прямо попросить о переводе.

Подготовив судно к следующему рейсу, Феша пошла в контору. От мысли, что вот сейчас ей надо войти к капитану и сказать, что она не хочет оставаться кормприемщиком, ей стало неловко и все казалось сложным. Она не знала, как начать разговор, назвать ли капитана товарищ Мальков или по имени и отчеству.

Увидев Фешу, капитан заговорил первым. Он сообщил ей, что через час паузок № 30 пойдет на пески в „Кривое".

— В Кривое! — воскликнула Феша. — Так там же белая рыба, Иван Алексеевич, я не знаю, как с ней обращаться, я еще ее ни разу не принимала.

— Ну и что ж? — спокойно ответил капитан. — Пойди к мастеру обработки и расспроси. Хорошенько расспроси. Стерляль и нельма — это тебе не чебак.

— Постой! — вернул он уходившую Фешу, — спроси у мастера инструкцию по приемке белой рыбы, она у него есть.

* * *

Когда катер отвалил от берега, развернулся и пошел полным ходом, Феша еще раз осмотрела, хорошо ли заделан буксир, и спустилась в каюту. Солнце зашло, но стояли долгие летние сумерки и в каюте было еще светло. Иван лежал на своей койке. На койке Феши белела тоненькая книжка. Она взглянула на нее, присела и только тут вспомнила, зачем ходила к капитану. Минуту Феша сидела не шевелясь. Потом, вздохнув, взяла книжку и принялась читать инструкцию. Читала она медленно, перечитывая некоторые параграфы по два и три раза.

Через пять-шесть часов катер доставит паузок к новой стоянке, где его ждут рыбаки с белой рыбой.

ОГОНЬ!

На травах прозрачные росы...
Шумели над рощей дрозды,
Я с милой бродил по откосам
До самой последней звезды.

В просторе, распахнутом настежь,
Волнующе пела гармонь.
За наше чудесное счастье —
Огонь, батарея, огонь!

С тревожных перронов вокзала
Нас в бой уводила война.
Ты мне на прощанье сказала,
Что будешь навеки верна.

И ты протянула мне руки,
И дрогнула встречно ладонь;
За эти минуты разлуки —
Огонь, батарея, огонь!

В боях возмужавший и строгий,
В солдатской шинели простой,
Я ехал по старой дороге,
Где раньше бродили с тобой.

И там, где ночами, бывало,
Шумел нам развесистый дуб,
Лежал у старинного вала
Любимой истерзанный труп.

Не спрашивай больше, не надо,
И ран незаживших не тронь.
По немцу тяжелым снарядом —
Огонь, батарея, огонь!

СОЛОВЕЙ

Не на далеком полустанке,
Не в свежей зелени ветвей —
В походной низенькой землянке
Запел, защелкал соловей.

Ведя затейливые трели,
Звенел, как в тишине лесной,
И сразу лица просветлели
И в дверь пахнуло нам весной.

Озера бликами лаская,
Луна медлительно плыла,
И вышла девушка босая
На желтый берег из села.

В шинели, в каске продымленной
Прийти бы в тихие края
И слушать в серебристых кленах
Ночную песню соловья.

Но за бугром грохочут танки,
Ложится путь войны тернист,
Алябьевского „Соловья" в землянке
Играет друг-артиллерист.

Играет он, и сердце верит
В исходе боевого дня,
Что близок тихий светлый берег
За ливнем крови и огня.

НИКОЛАЙ ВИГИЛЯНСКИЙ

В ПЛЕНУ

Вы спросили меня вчера, какое самое сильное переживание было у меня на войне — и я не смог вам ответить. Не смог ответить, наверное, потому, что сам в этом еще не разобрался. Вчера, когда вы ушли, я до утра ходил по палубе; много воспоминаний полнял наш разговор. Мне хотелось искренне ответить на ваш вопрос, так искренне, как мы вчера с вами говорили.

И вот я ходил по палубе, обдумывал события последних лет. За два года войны я пережил больше, чем за тридцать лет мирной жизни. Я участвовал в разгроме немцев под Сталинградом, в боях за Северный Кавказ. Но, если говорить о переживании, оставившем самый глубокий след, — вспомнилось не то, за что я получил орден. Однако, наиболее важное не сразу расскажешь. Об этом труднее всего говорить.

В 1933 году, окончив педагогический техникум в Ханты-Мансийске, я учительствовал в школе. Леня Разников, друг моего детства, товарищ по кружку иностранных языков, прислал мне по почте из Москвы вырезку из немецкого антифашистского журнала В статье описывалось, как во время нацистского переворота в одном из небольших городов Германии, гитлеровцы после пыток и избиений посадили в клетки и выставили на улицах профсоюзных деятелей, докторов, учителей, инженеров, уважаемых в городе стариков В статье был снимок — клетка на улице, на асфальтовом тротуаре, в клетке держатся за прутья решетки измученные побоями пленники, без головных уборов, без пиджаков. Видя на снимке эти клетки и костры из книг рядом с многоэтажными зданиями, я чувствовал, как это близко касается и меня и всех нас. Я представлял себе, как, стоящий у костра или сторожащий клетку

гитлеровец придет домой, каким голосом он скажет сыну: „Поди сюда!", как сын его станет разговаривать со сверстниками, с сестрами — и мне становилось тревожно за будущее не только немецких детей.

Во время войны в Испании мы всем коллективом Самаровской десятилетки собирали посылки. Дети отсылали в посылках письма в Испанию, свои рисунки, вязали носки, и в школе шли споры, нужны ли шерстяные носки в Испании или там совсем не бывает холодов. Даже в младших классах сразу находили на карте Барселону, Севилью, Толедо; на школьных досках писали мелом: „Они не пройдут!"

У меня лично в этот год было много радостных событий. За четыре дня на самолете я пролетел из Самарова в Сочи, целый день по пути провел в Москве. Как один миг промелькнуло это путешествие.

А когда мы прилетели в Сочи, кругом нас были озабоченные лица, люди говорили о поражении Испанской республики. И сразу, словно ветром сдуло наше хорошее настроение. В тот же день мне захотелось домой. Я представил себе, как Зина придет встречать меня на аэродром и встревоженно спросит:

„Где Долорес Ибаррури? Она спаслась? Они ее не схватили? ...

По пляжу, под ярким солнцем, под пальмами, в красивых легких платьях ходили люди, множество людей и, глядя на море, говорили о том, что если бы не немецкие и итальянские войска и самолеты, мадридцы держались бы по сей день...

В классах, на семинарах агитаторов мы изучали речь Сталина об очагах будущей мировой войны, страстные статьи Горького против нацизма, читали газетные сообщения о росте фашизма на Балканах, во Франции, в Латинской Америке, — и у нас было живое ощущение, что силы зла во всем мире с каждым годом все больше и больше мешают нам жить.

Какой бы день не наступил, куда бы ни уйти, — нигде нельзя было избавиться от этих мыслей По воскресеньям я обычно уходил с ружьем в тайгу. Шел напрямик, не заботясь о том, где запад, где восток, какую подстрелю дичь, где сделаю привал. Последние домики Самарова, нефтебаза, аэродром остаются далеко позади. Слышен только далекий, нарастающий, потом теряющийся шум деревьев...

Идя по тайге, я вижу немецкие самолеты, как их видели

англичане над Критом, — большие транспортные самолеты — они выходят из тумана и входят в туман двумя непрерывными цепочками. Я вижу плачущих детей, они разбегаются по улицам Люблина, над их головами летят по ветру обрывки сгоревших бумаг. Я вижу густой, синий кружок, каким отчеркнула Зина заметку об этом в газете, первые дни немецкого вторжения в Польшу. Война, словно сплошная облачная туча, висела над нами. Казалось, даже дышать становилось с каждым годом все труднее. Жизнь останавливалась, отравленная войной.

Я был во дворе, просматривал сеть, готовясь выехать на рыбалку, когда Зина, бледная, выбежала на крыльцо и тихо сказала:

— Саша, иди скорее!..

Я взглянул ей в лицо и подумал: „Что-то случилось с ребенком!“ Я бросился в комнату; Молотов уже начал свою речь. Боясь пошевелиться, стукнуть, скрипнуть чем-нибудь и потерять хоть одно слово, мы стояли у репродуктора, не решаясь даже взять стулья. Когда Молотов взволнованным голосом перечислял порабощенные гитлеровцами народы Франции, Бельгии, Норвегии, Дании, Югославии, Греции, Голландии, у меня дрогнул подбородок я взглянул на Зину, в глазах ее стояли слезы.

Я был очень возбужден в те дни. Моя мать, сгорбившаяся, растерянная, еще больше постаревшая, приехала к нам из Тобольска, и ее первые слова были:

— Слава богу, — у тебя хороший вид. Как ты себя чувствуешь? Тебя еще не берут?

— Нет, пока не призвали. Я ухожу добровольцем.

Она побледнела, ничего не ответила, глядела на мои руки, не поднимая на меня глаз.

— Что же ты молчишь? Ты думаешь этого не следовало делать?

— Нет, ты поступил правильно... — сказала она. Я не ожидал такого ответа, обнял ее, и она заплакала.

Мама, Зина, многие учителя и ученики из школы пошли на пристань провожать меня. Я видел, как мама старалась не плакать.

— Саша! — вдруг сказала она. — Что бы ни случилось, не озлобляйся, не теряй веры в человека!..

... 3 августа 1941 года ночью нас высадили под Ржевом; Смоленск был уже в руках немцев. Остаток ночи мы шли, под утро заняли оборону около железнодорож-

ного полотна, с хода стали копать землю, рубить деревья, строить блиндажи. Сутки, торопясь, строили глубокие укрепления, а на утро получили приказ отходить.

Мы не слышали ни одного выстрела и отступали с недоумением — почему так? Сумрачно, молча мы шли на восток, оставляя за собой полустанок, на котором высадились позавчера. Новый приказ: стоять! Мы остановились в нерешительности, не зная, что делать с собой: опять будем строить укрепления или еще дальше пойдем?

Командир роты объяснил обстановку — справа от нас немецкие танки прорвались по шоссе. Чтобы избежать полного окружения, надо, не теряя времени, обходным путем пробиваться к своим. Через лесные заросли и овраги мы прошли за вечер и за ночь еще километров пятьдесят и к утру выбрались на шоссе, исхудавшие от усталости. Бойцы нашей роты, с серыми лицами, с трудом сгибая ноги, валились на траву. Командир роты облизывал запекшиеся губы, немигающими глазами смотрел на нас. Он полжицал отставших, пошел в лес, вернулся и хриплым голосом сказал:

— Двоих в разведку...

Я и еще несколько бойцов встали с травы. Земля шаталась подо мной. Ощупью, словно уже не доверяя глазам, я проверил, все ли на мне в порядке: винтовка, скатка, подсумок, саперная лопата, котелок, противогаз. Командир роты выбрал нас двоих и показал направление — по опушке леса вдоль шоссе — на восток.

Мне казалось — мы уже далеко ушли, солнце поднялось над лесом. Спутник мой — маленького роста, кривоногий, плотно сбитый, держался бодро, шел почти не прячась за деревьями. Мы были уверены, что идем к своим.

Вдруг мне послышался шорох в кустах. Я потянул за рукав своего спутника, припал к земле; ничего не слыша, не понимая, он оглянулся на меня, стоя во весь рост. И в этот момент грянула пулеметная очередь. Срезанные ветки посыпались мне в лицо.

— Хальт! Сдавайся! — закричали голоса невидимых нам врагов. Не помня себя, мы бросились в чащу; только одна мысль осталась еще у меня — не разминуться с товарищем! Долго, очень долго мне казалось, что я слышу за собой выстрелы и крики немцев.

Потом все стихло.

По носу моего товарища стекали капли крови, по лицу его лился пот, каску он потерял, волосы его слиплись, гимнастерка была разорвана. У него дрожали губы, дро-

жали руки; он показался мне совсем пришибленным. Я посмотрел на свои пальцы — они тряслись. Откуда у меня на руках появилась кровь?

Мы отделались царапинами, но не сразу смогли определить, куда нам итти, где искать свою роту? По направлению ветвей я нашел юг и рассчитал, где осталась наша рота: надо было искать ее на северо-западе. Я хорошо помнил — там оставалась слева малоезженная просека, заросшая кустами смородины. Но спутник мой уверял, что я все напутал: наша рота не к северо-западу, а к северо-востоку. Он спорил долго, потом сказал:

— Если хочешь, иди один. Я пойду сюда...

— Хорошо... — ответил я и, не оборачиваясь, пошел к северо-западу. Он вскинул на плечо винтовку и побрел за мной.

Далеко-далеко впереди нас послышался треск автомобильных моторов. Мы стали очень осторожными теперь и приближались к дороге, прячась за деревьями, стараясь не шуметь. В просветах деревьев показалось шоссе, мелькали борта машин, в стеклах кабинок отсвечивало солнце. Сантиметр за сантиметром, отодвигая руками ветки, мы подходили к шоссе. Вот и просека, заросшая кустами смородины.

Машины стали видны целиком — серые, высокие грузовики с черными крестами. Треск моторов сливался в сплошной гул. Я повернулся к товарищу и увидел, что он зовет меня глазами. Молча, пятясь, мы стали уходить в чащу.

Весь вечер и всю ночь мы блуждали по лесу. Попадали в болота, по нескольку раз возвращались на одно и то же место. Мы жевали на ходу грибы-сыроежки и выплевывали их — есть не хотелось, но все время мучила жажда. Находя стоячую, ржавую воду, мы припадали к ней и с трудом заставляли себя оторваться.

Ночью, задремывая, я вздрагивал от шорохов.

Однажды, как наяву, я увидел маму, — она ставила на стол горячие шаньги с морковью.

„... Надо проснуться, нехорошо!" — подумал я.

На рассвете мне показалось, что невдалеке должно быть шоссе. Я как будто услышал нарастающий шум машин. Быстроходные танки, но где они идут? Сначала казалось, что гул этот прямо перед нами, потом справа, слева, и вдруг рев моторов обвалился на наши головы, весь лес, все небо наполнилось им. Это была авиация. Мы встали и инстинктивно придвинулись к большим деревьям,

Казалось, самолеты уже над нами, таким пронзительным был их вой, но когда они действительно оказались над нами, воздух загрохотал так, что не слышны стали бы любые выстрелы и крики. Самолеты шли с запада, низко над лесом. В просветах ветвей они мелькали то там, то здесь, так быстро, что их невозможно было рассмотреть.

Упавшим голосом, как бы самому себе, мой товарищ сказал:

— Видно — край! Не выберемся мы отсюда!..

„Так вот ты какой!" — подумал я, и пристально, как бы впервые, посмотрел на него.

„Если бы мой друг Леня был здесь сейчас!" — подумал я и увидел Обь, разлившуюся около Перегребного...

Невыносимо хотелось заснуть.

— Не надо спать! — говорил я себе, но говорил это уже во сне...

Мы уснули оба... Нас даже не оглушили... Нас просто схватили и связали немцы, прочесывавшие лес.

8 августа 1941 года меня привезли в лагерь военнопленных около Минска.

В сенях, похожих на предбанник, конвоиры обыскивали в третий раз, заставили раздеться донага и ножами, тонкими как лезвия для безопасных бритв, подпарывали швы на белье и одежде. Я стоял голый — все во мне дрожало. Ноги, руки, грудь, живот были в сплошных синяках и ссадинах.

В пути конвойные отняли часы, портсигар, спички, деньги, ремень. Здесь забрали две помятых папиросы, оставшиеся в нагрудном кармане гимнастерки, фотографии Зины, мамы, Лени; сапоги, ремешок от брюк. Мне швырнули гимнастерку, брюки, белье, знаком показали, чтобы я оделся, и втолкнули в следующую комнату, откуда только что вывели полураздетого парня, избитого, с окровавленной губой.

Я шел босиком, придерживая рукой брюки.

Начались допросы.

... За столом сидел начальник, я увидел это по его позе, по тому, как подтянулись конвоиры. Что-то чужое было в его облике, в его взгляде.

У меня дергались веки, подрагивала голова. Я говорил себе: „Спокойно, это бывает, это нервный тик. Спокойно, это, может быть, самый важный момент".

— Имя? Фамилия? — спросил начальник лагеря по-русски.
— Кушников, Александр Никонович.
— Учитель?
— Да...
— Зачем вы солгали на первых допросах, сказав, что вы не коммунист и не занимаетесь политикой?
— Я сказал правду...
— Назовите фамилии командиров и коммунистов вашего полка.
Я повторил то же, что на предыдущих допросах: в полку я пробыл несколько дней, сам издалека — сибиряк, земляков у меня в роте не было, ознакомиться с людьми не успел...
— Ты врешь! — воскликнул он, вышел из-за стола и ударил меня по лицу.
— Кто? — быстро спросил начальник лагеря, бросив передо мной фотографию Лени.
— Мой товарищ...
— Ты в самом деле не говоришь по-немецки? У вас не преподавали немецкого языка?
— Мы изучали английский...
— Кто преподавал у вас английский?
Он быстро поглядел на меня.
Я подумал: „Может быть и здесь ловушка?" Но, не колеблясь, ответил правду:
— Яков Михайлович Бреннер...
Он еще раз глянул на меня, и я постарался придать своему лицу как можно более невинное, испуганное и глуповатое выражение.
— Abführen!..[1] — приказал он, отвернувшись от меня.
Конвойный, на голову ниже меня, с автоматом на плече сделал повелительный жест пальцем и произнес: „Пст!" — что должно было означать: „А ну, выметайся! Марш!" Он сделал это спокойно, без вызова, уверенный в том, что стоит ему махнуть пальцем, и он приведет меня в движение. В дверях я остановился и как можно наивнее спросил:
— Мне вернут мои сапоги?
— Теперь лето, а разве летом в России носят обувь? — ответил начальник лагеря с насмешкой и почти любезной улыбкой.
В те дни у меня было такое чувство, словно я умер,

---

[1] Уведите.

а вместо меня живет и действует другой человек. Было
ло отчаяния стыдно — как я позволил себе попасть к ним,
отвоеваться без единого выстрела?! Но я как будто еще
не верил, не смел поверить себе, что все это окончательно,
на что-то надеялся, ждал...

Конвойный вел меня по двору лагеря. Торчали обго-
релые пни, зеленый и бурый мох пружинился под ногами.
Почва была мягкая, колеблющаяся. Бараки, крытые землей,
сторожевые вышки с коническими крышами, несколько ря-
дов колючей проволоки, запах болота и уборных...

Через полчаса нас погнали на работу. Двенадцать плен-
ных, шесть конвоиров и русский десятник — старик, шедший
без конвоя. Четыре немца с автоматами шагали по сто-
ронам, поодаль от колонны двое немцев с автоматами на
значительном расстоянии следовали сзади. Молчанье было
полным — говорить нам запрещалось, да, по правде сказать,
и не хотелось: тяжело было бы говорить. Мы шли босиком
и не смотрели друг на друга.

На лесной поляне нам роздали пилы и топоры. Десят-
ник знаками показывал конвойным, как нас развести, куда
расставить на работе:

— Тех двоих — туды . Этих — пилять...

Я до сих пор не знаю — добровольно ли пошел старик
работать к немцам или его заставили, но видно было, что
он ненавидел за это себя и нас. Борода его торчала криво,
лицо потело, он дергался при каждом звуке и шептал
про себя ругательства.

„Что мы будем делать? — подумал я. — Дорогу, по ко-
торой немецкая армия пойдет на Москву?"

Искоса я наблюдал, как расположились конвойные —
шагах в тридцати от нас, с автоматами на руке, они дер-
жали кольцевую оборону против нас, с озабоченными
лицами, на-чеку, здесь вдалеке от лагеря. Они боялись
нас. Даже десятник старался держаться подальше, так,
чтобы за спиной у него никого не было, кроме немцев.
Если кто-нибудь из пленных оказывался сбоку от него,
старик как-то ежился и косил одним глазом. Да, они боя-
лись нас, но дали нам хорошо заточенные топоры со
спокойной уверенностью, что мы не сможем сопротив-
ляться. В какую сторону не бросишься — не пробежишь
и пяти шагов, как положат на месте. Но я все еще словно
надеялся на какое-то чудо, которое вдруг прервет этот
бред.

— Ну? Давай! Чего стоишь?! — с ненавистью глядя на
меня, сказал десятник. Напарник мой молча протянул мне

пилу. Сипенье пил и стук топоров раздались рядом с мной — странные звуки, вялые, глухие, беспорядочные. М все — двенадцать человек — как будто разговорились вдру языком инструментов. Каждый звук повторял: „Проклята работа! Мы — в плену".

Я посмотрел в глаза напарнику, мы великолепно пони мали друг друга. Пригнувшись к земле, глядя мим меня, заглушая свои слова звуком пилы, напарник спросил

— Москва держится?

— Держится... Тебя давно взяли?..

Он бросил мне сквозь зубы:

— Погоди, потом...

Вот, наконец, мы подпилили березу, ходили вокру нее, так и эдак примеривались, повалили ее на землю стали обрубывать ветки. Подняв ветку, шурша листьями товарищ тихо предупредил:

— Вчера застрелили двоих за разговоры...

Снова молчанье — топорами мы снимаем кору со ствола березы. По лицу напарника, по складке на его лбу я вижу как он обдумывает следующую фразу, составляет и со кращает ее как телеграмму.

— В бараке они следят через щели, — говорит он, вы тирая лицо ладонью. — Если заметят, что шепчутся — бьют, сажают в карцер...

Десятник кричит нам:

— Давайте бревно ближе!..

Десятник подводит двух человек нам на помощь, конвой ные перемещаются, не спуская с нас глаз. Но и вчетвером мы, от слабости и отвращения к работе, не в силах под нять бревно. Нам дают еще двух человек и мы тащим ствол березы вшестером.

Под босые ноги попадали сучья, сосновые шишки, ко я едва замечал их, не чувствовал боли. Несколько дней я не ел, но и голода не ощущал, только очень хотелось курить. Напарник мой жевал листья, корешки. И другие пленные нагибались, рвали траву, клали ее в рот, жевали и глотали. Я смотрел на опустившиеся плечи, бескровные губы, руки в ссадинах, на лохмотья выгоревших гимна терок с темными полосами и квадратами там, где были петлички и нашивки, на изнуренные, грязные, заросши многодневной щетиной лица. Кто из нас доживет до конц войны?

...В полдень сменился конвой, на этот раз пришло не шесть, а пять немцев. Уходившие что-то негромко сказали десятнику, он подозвал меня и моего напарника, отобра

нас пилы и топоры. Шестеро конвойных окружили нас повели — четверо по бокам, двое сзади. У меня сильно билось сердце. Почему именно нас? Они заметили, как мы разговаривали? Или поняли, что мы можем работать иначе. Но ведь не мы одни, все двенадцать человек вели себя так!

Товарищ мой шел руки назад, опустив голову. Куда нас ведут — на допрос, на очную ставку, на пытку?

Нас провели мимо лагеря, к маленьким деревянным домам на опушке леса. Опять, как утром, у меня начали дергаться веки. У домиков нас развели поодиночке. На крыльце с тремя ступеньками я замедлил шаги, — дулом автомата меня втолкнули в дверь.

Я увидел четыре кровати, аккуратно застланные полегели, крашеный пол, фотографии на стене. Один из конвойных стоял сзади меня. Другой повесил автомат и пилотку над постелью, сел на койку, снял сапоги и надел войлочные туфли.

Потом принес ведро с водой, тряпку и знаками показал мне: мой пол. Конвоир с автоматом уселся на табуретку. Опустившись на корточки, я начал мыть пол. Моя тревога уменьшилась, но не исчезла совсем — кто их знает, что они сделают в следующую минуту?! Исподлобья я наблюдал за ними.

Тот, что принес воду, был широкоскулый, курносый, рыжий, с маленькими усиками и толстыми губами. Его выпученные глаза, заносчивое выражение лица, как бы говорили: „А что? Попробуй только". Второй конвоир был суше, подтянутее, китель с прямыми плечами сидел на нем ладно и ловко. Лицо узкое, близко поставленные глаза, слишком тонкие брови, слишком острый нос, словно природа создавала все это по урезанной норме. Тонкокостный, золотушный, с красными пятнышками около носа, он, однако, держался молодцевато, всем видом своим показывая: „Я лицо официальное".

Конвоир следил за мной машинально, не думая обо мне; оба обращали на меня внимания не больше, чем обратили бы на кошку.

Я мыл за кроватями и украдкой разглядывал фотографии на стене. Три висели полукругом, одна над ними. Четкие фотографии на глянцевой отсвечивающей бумаге. На верхней — мой рыжий конвоир в полной форме с железным крестом. На трех нижних снимках одна и та же женщина: в пальто с меховым воротником, в летнем платье, и даже в брюках. Поставив ногу на подножку

автомобиля, она подняла берет с задорным жестом: „А вот я! Смотрите на меня!"

Пол вымыт. Конвойный вывел меня во двор к поленнице под навесом и знаками приказал мне: руби дрова!

День был тихий и жаркий, леса со всех сторон задерживали ветер; под навесом жужжали мухи.

„Зачем им дрова? — подумал я. — Запас на зиму?.. Они настолько уверены, что будут зимовать?"

Сидя на крылечках соседних домов, загорали на солнце полуголые до пояса немецкие солдаты в черных, желтых, голубых трусах.

Я начал рубить дрова. Крики с соседнего двора заставили меня приостановиться. Солдаты дрались. Один сунул другому пальцы в рот и старался разорвать ему губу. Полуголые немцы с соседних дворов, посмеиваясь, бежали их разнимать. Смеялся и мой конвойный. Он улыбался и тогда, когда дерущихся разняли, смакуя про себя подробности драки. Он ни на секунду не переставал следить за мной, не забывал, что я могу броситься на него или убежать, но ему и в голову не приходило, что я наблюдаю за ним более внимательно, чем он за мной, что я вижу его насквозь так, как он меня никогда не увидит.

Солнце спускалось к лесу; мелкие мошки роем стояли в воздухе. В одном из домов с раскрытыми окнами завели патефон, бравурный марш зазвучал в вечернем воздухе, и чувство одиночества усилилось во мне. Далекое остывающее солнце — неужели оно же светит сейчас и моей Зине и нашим бойцам на фронте?

Длинные тени от меня и конвойного двигались по кочкам — он вел меня во двор лагеря. Сотни босых, оборванных пленных, уже приведенных из леса, толпились около окна, прорезанного в деревянной стене. Здесь выдавали хлебные пайки. Порция хлеба крошилась в руке и занимала немного места на ладони. Соседа моего толкнули под локоть, уголок его порции отвалился и упал на землю. И вслед за ним как бы упал на землю человек. Он шарил, искал, сметал крошки, а его, не замечая, толкали рвавшиеся к окну.

От темного, жидкого супа пахло выгребной ямой. Утром я не мог его есть, теперь жадно проглотил всю кружку.

Быстро наступали сумерки, смягчая очертания бараков и людей. Вдруг четыре прожектора вспыхнули по углам двора на сторожевых вышках; яркий свет слепил глаза, и с беспощадной ясностью стали видны заросшие, грязные лица, исцарапанные руки, лихорадочно воспаленные голод-

ные глаза. Конвойные не заводили нас в бараки, они выстраивали пленных четырехугольником во дворе лагеря.

Стало тихо, слышно было, как шипели прожекторы. Рои мошек носились высоко над нашими головами. Со стороны домов на опушке леса послышались звуки немецкой речи. Солдаты вели связанного пленного.

Начальник лагеря, отделившись от конвойных, вышел на середину двора так, чтобы его со всех сторон было видно. За его спиной немцы держали молодого парня со спутанными волосами, с окровавленной рукой, замотанной грязной тряпкой.

— Мы будем наказывать здесь совершившего преступление перед германской армией, — объявил по-русски начальник лагеря. — Не желая работать, он отрубил себе топором пальцы на левой руке. Он получит за это сто ударов, после чего станет работать одной рукой...

Один из солдат установил на мягкой земле скамейку, развязал пленного, сделал ему знак раздеться. Тот стоял не двигаясь. Быстрым ударом его свалили с ног, сорвали с него гимнастерку, белье. Он застонал — должно быть сильно задели изувеченную руку. Втроем его подняли и веревками, лицом вниз, прикрутили к скамейке. Одна рука его висела до земли. Было очень тихо, слышно было только, как шипели прожекторы...

После сотого удара пленного отвязали. Он не двигался. Его поставили на ноги — спина в свете прожекторов была темной. Вдруг, с хриплым звуком, похожим на рыданье, он бросился на конвойных. Его схватили за руки двое немцев. Четыре солдата принесли бревно и положили на правое плечо избитого. Он покачнулся, но, подняв руку, схватившись за бревно, устоял. Его толкнули в спину — он вздрогнул и подался вперед. Его еще раз толкнули сзади, и на раскоряченных, подламывающихся ногах он пошел. Луч одного из прожекторов следовал за ним, как бы подчеркивая: „Вот он идет и несет бревно. Вот как мы его наказываем! Он несет и будет нести или умрет!"

Каждую секунду я ждал, что он упадет. Если бы он упал, бревно задавило бы его. И он понимал это. Лицо его было совершенно белым в ярком свете прожектора. Он шатался, но шел. Было видно — всю ненависть к ним, всю силу, накопленную за многие годы жизни, он вложил сейчас в то, чтобы устоять, не упасть, итти. И он шел.

Чувствовалось, что люди вокруг меня думали то же, что и я. „Да, он несет и будет нести!" — думали мы, но совсем не так, как хотелось бы немцам. И палачи поняли

это — начальник лагеря негромко распорядился, бревно сняли, пленного увели и нас разогнали по баракам.

... Вечером, входя в барак, я еле стоял на ногах от голода, от усталости, от многих бессонных ночей. Мне казалось, только свалюсь на нары — в ту же минуту усну. Но я не только не спал, я чувствовал себя бодрее, собраннее. Казалось, встать сейчас, разбежаться, и я перескочу через проволоку, через вышки и часовых. „Значит, есть еще во мне силы и кто скажет, где их предел? — думал я, видя перед собой пленного, идущего с бревном на плече. — Тем более нашлись бы силы не спать в лесу, в то утро, когда меня схватили и связали. Я сам виноват во всем; одна минута растерянности, душевной усталости, небрежной надежды, что все сойдет как-нибудь — и вот...“

Я слышал как за перегородкой шевелился часовой, тихо прохаживаясь, подглядывая в щели, усаживаясь поплотнее. С отвращением представил я его себе целиком с ног до головы — в широконосых сапогах с короткими, болтающимися голенищами, с орлом и свастикой на левом рукаве, с высоко поднятым от сознания собственной важности носом.

„Они лезут к нам с инстинктивной жадностью насекомых, — думал я о гитлеровцах, — как таежный гнус — убьешь десяток, и новый десяток паразитов, ничего не видящих, ничего не помнящих, ничего не соображающих, чувствующих только живое, теплое тело и кровь, назойливо лезет на тебя. Придет, — думал я, — день и весь мир, ужаснувшись, ополчится на них. Даже без ног, вдавленный в землю, я слепой, ощупью, ползком протащился бы многие километры, чтобы последнего из них схватить за горло. Проклятые дикари! Если даже они убьют меня, Зину, моего ребенка — все равно — мы будем жить, а они не будут!..“

В ту ночь я перестал бояться за себя. Первый раз в жизни я понял, что такое ненависть. Приближался рассвет, но я не спал. Рядом со мной на нарах лежал пожилой человек с седеющими висками. Вечером, наблюдая, как он основательно связывал три тесемки в пояс, прилаживая их, чтобы узлы не натирали тело, я подумал: „Вот этот хочет и будет жить!..“ Я видел, как лицо его, простоватое при конвойных, становилось сосредоточенным и умным, когда он был уверен, что за ним не следят. Испытывая потребность немедленно что-то сделать, я дотронулся до соседа. В ту же секунду, не пошевелившись, он проснулся и открыл глаза. Во взгляде его не

ило ничего от дремоты. Видно, не первый раз будили его
ак по ночам.
— Этого часового я и сейчас свалил бы одним ударом, —
азал я шопотом, прислушиваясь к движению за пере-
родкой.
— Три их солдата не стоят одного нашего, — спокойно
ветил он, как будто продолжая давно начатый раз-
вор. — Они только и держатся за машины, шага боятся
тойти от машин...
Неожиданно для самого себя я спросил:
— Откуда у них электричество здесь?
— В полукилометре отсюда — лесопильный завод. В
вух километрах, на реке — военные склады...
Вот с этим товарищем моим — бывшим механиком, а
ыне гвардии капитаном, героем Советского Союза Геор-
ем Петровичем Дементьевым, мы начали готовить побег.
се попытки бежать, какие мы видели в лагере, конча-
ись неудачей. Двое пытались уйти из леса, кинулись
кусты — их пристрелили сразу. Один, оторвав доску от
борной, разбежался по двору лагеря, бросил доску на
роволочные заграждения, вскочил на них. но когда
прыгнул с доски на ту сторону рва, несколько десятков
уль попали в него, свалился он в ров уже мертвым.
Подростком я видел, как лесорубы за двадцать шагов
росали топор в дерево и попадали лезвием в ствол. Я
учился так же всаживать топор в дерево с броска, по
райней мере в восьми случаях из десяти. Найдется ли в
ашей группе пленных еще пять человек, которым бы
далось это? Но пусть даже не лезвием, — говорил Де-
ентьев, — пусть обухом по лицу, по автомату, по руке,
ишь бы одновременно бросить, в одну и ту же секунду,
отя бы восьми человекам из двенадцати, заранее распре-
елив между собой конвойных. Главное — броситься на
их одновременно прежде, чем они успеют поднять авто-
аты.
Тут требовалось сговориться отдельно с каждым плен-
ым, подготовить людей, заранее условиться о сигнале,
ыбрать момент. А люди менялись—одни умирали, других
ереводили в карцер, в соседние бараки, и с новыми при-
одилось начинать все сначала, присматриваться, ждать
лучая заговорить. И нужна была крайняя осторожность
ри конвойных, чтобы не вызвать подозрений. Мы с Де-
ентьевым ложились теперь в разных концах барака и
огда по два-три дня не смотрели друг на друга. Под-
отовка побега заняла больше двух месяцев.

Наступил ноябрь, нам выдали куртки из мешковины и эрзацботинки из старых автомобильных покрышек. Обувь эта быстро рвалась, через дыры вылезали покрасневшие пальцы ног. Руки с поломанными ногтями заскорузли, трескались, кровоточили; в трещинах засыхала грязь. Умываться нам не полагалось, иногда по суткам не давали даже питьевой воды. Плохо сгибающимися, грязными, посиневшими пальцами, без рукавиц, мы поднимали заиндевевшие бревна, старались двигаться, чтобы согреться и сразу же задыхались. Когда я быстро нагибался — какая-то сетка и черные точки мелькали перед глазами.

Нам выдавали как и летом, двести граммов хлеба из опилок, отрубей, миску супа из картофельных очисток утром и миску супа из свекольных очисток вечером. В лесу мы жевали ветки, мох. Замерзать начинали, едва только нас выводили из бараков. Даже чуть-чуть прохладный встречный ветер вызывал слезы из глаз. Возвращаясь вечером в барак, мы, чтобы согреться, терли руки об одежду, жались друг к другу, но в нетопленном бараке не помогало и это. Чаще всего мне снился там сон, будто я иду голый по тундре, зимой, вдали от всякого жилья.

Людей мучили насекомые, огромные фурункулы и нарывы на теле, не проходившие по месяцам. Многие пленные седели у меня на глазах. Еще в сентябре люди стали падать на работе и по дороге с работы. Конвойные пристреливали их. Бывали дни, когда из двенадцати человек возвращалось только десять. Начальник лагеря негромко спрашивал конвойных, они отвечали молчаливым жестом — оттопыривали большой палец правой руки и показывали им вниз, к земле. Утром мы уже не находили трупов пристреленных в лесу; куда они убирали их — я не знаю.

Дома подростком четырнадцати-пятнадцати лет я, случалось, думал о самоубийстве. Иногда как будто серьезно, иногда из любопытства, из баловства. Но в лагере не было секунды, когда бы мне хотелось умереть. Не только потому, что я не чувствовал себя вправе умирать так рано, почти ничего не сделав, но потому, что просто хотелось жить, очень хотелось жить. Мы все понимали, что немцы сознательно стремятся нас извести, и были пленные, которые, упав духом, громко говорили: „Лучше умереть, чем этот ад!" Но у меня, у Дементьева, у большинства людей, несмотря на то, что смерть стала бытом, существовала твердая уверенность, что мы должны жить и будем жить.

Нас гнали гуськом в воротах, мы шли сгорбившись. Начальник лагеря издали наблюдал за нами. Он был свеже-

выбрит, держался прямо, и с таким холодным достоинством, с таким спокойным презрением смотрел на нас, словно не пять метров, а пятнадцать веков цивилизации отделяли его от нас. Я проходил мимо и, усмехаясь про себя, думал:

„Пройдет немного времени и ты станешь навозом, а я буду жить..."

Ночью, в бараке, от стужи тряслось все тело, тряслись челюсти, казалось, ни одной уже мысли, ни одного воспоминания не оставалось во мне, только тоска и озлобление. Но стоило мне вспомнить, повторить себе: „Их истребят, они исчезнут с лица земли, а мы будем жить!.." — и какой-то странный восторг охватывал меня. Небывалое чувство власти над жизнью, над самим собой поднимало меня, и я не знаю, испытывал ли я когда-нибудь более глубокую радость, чем в те минуты. Только там, в лагере, я понял, на что способен человек.

23 ноября 1941 года утром, в лесу, мы, двенадцать пленных, по сигналу Дементьева, кинулись на конвойных и швырнули в них двенадцать топоров. Только один из них не растерялся, успел отскочить, застрелил троих и бросился бежать; он умер последним, на полминуты пережив своих приятелей. С шестью автоматами и четырьмя пистолетами, мы, оставшиеся в живых, девять человек два месяца пробирались к линии фронта.

Я шел теперь по любому лесу уже не как штатский человек, а как боец, во много раз осторожнее, чем прежде, но с полной уверенностью, что я пройду и выйду из этого леса, а немцы не пройдут. И вот, как видите, я здесь...

Я заметил — иногда вы смотрите, как я одной рукой скручиваю папиросу и наверное думаете: „А, все-таки, ему неудобно, ему труднее жить, чем нам, остальным"...

— Я вам скажу правду, никогда я еще не был таким счастливым, как теперь. В семнадцать, в восемнадцать лет я не чувствовал себя таким жизнерадостным, бодрым, таким способным на все, как теперь.

Раньше я только думал, а на войне физически ощутил — невозможного на свете нет. И разве я один? Миллионы людей поняли это на фронте и в тылу. Вот у нас сейчас на севере женщины, дети и старики добывают рыбы в три раза больше, чем все вместе мы добывали в мирное время!

Весь мир будет лучше, много лучше после этой войны! Она научит всех глубже ценить добро, ценить друг друга, дорожить каждой секундой, каждым моментом жизни.

Вот уже несколько ночей я не могу уснуть от какого-то слишком хорошего настроения, от того, наверное, что приближаюсь к дому. Сегодня до утра ходил по палубе. Ночью шел дождь, ничего не было видно, даже смутно я не различал берегов и удивлялся штурману, как он ведет пароход? Я ходил по палубе и думал о том, что все спят, даже звери в лесу попрятались, забились в норы, а команда не спит, шуруют в топках, ведут пароход. Два бакена показались вдали — красный и белый — и я думал о том, что вот кто-то зажег в ночи эти бакена, подъехал по волнам, под дождем в лодке, чиркал отсыревшие спички, прятал их под плащом и зажег оба огня.

Под утро буксир показался вдали и приглушенным, влажным голосом дал длинный гудок, три коротких, потом еще один длинный: — Обращаю на себя внимание! — И наш пароход ответил низким басом, один раз длинно, два раза коротко: — Вижу! Замечаю! Не сплю!..

Капли стучали по крыше, вода стекала по палубе, ни души кругом. Я стоял на носу парохода и продолжал думать.

НИНА СКРЫННИКОВА

ГОТАМСКИЕ МУДРЕЦЫ

(АНГЛИЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

Есть город в Англии — Готам,
Средь многих городов,
Когда-то славился он там,
Как город дураков.
Однажды весть пришла в Готам,
Что ждите, мол, гостей:
Король проездом будет к вам
Со свитою своей.
Король, наверно, очень строг —
Обрадуется кто-ж?
Кормить вдобавок целый полк
Прожорливых вельмож!
Тогда собрались млад и стар,
Чтоб дело обсудить.
Какая весть, какой удар!
Что делать, как тут быть?
„Придумал я! — сказал один, —
— Наверное, вперед
— Наш милосердный властелин
— Шерифа к нам пошлет.
— Пустяк — шерифа нам надуть,
— Вот вам моя рука,
— Пусть только каждый как-нибудь
— Валяет дурака!
— Но надо, как в театре, роль
— Сыграть получше нам.
— Узнает это наш король —
— Не сунется в Готам!
— Опасно верить дураку —
— Он камешек швырнет
— И в королевскую башку
— Случайно попадет!"

Вот, рано утром, по лесам,
По вспаханным полям,
Шериф с отрядом едет сам
Прямехонько в Готам.
В отряде — тридцать душ солдат,
Все тридцать — на подбор!
В отряде каждый — черту брат,
И каждый — плут и вор!
Шериф надутый — впереди,
Молчит, глядит кругом,
И цепь, по чину, на груди,
Над круглым животом.
Вдруг видит — люди на пути,
У ближнего холма,
Но люди, господи прости,
Совсем сошли с ума!
Наверх катили старики
Большие валуны,
Внизу кряхтели паренъки,
Как будто бы больны.
Шериф сдержал коня и к ним:
„Что делаете здесь?"
„Увидеть солнце мы хотим,
— На камни эти взлезть!"
Сказал шериф: „Вот дураки!
— Ведь солнце и без вас
— Смотрите — там, из-за реки
— Поднимется сейчас!"
„Ах, это в самом деле так?
— Не знал, я весь свой век! —
Старик воскликнул: — Я — дурак,
— Вы — умный человек!"
„А вы? — спросил шериф парней.
„Кряхтим, чтоб им помочь!"
„И вы нисколько не умней!" —
И он поехал прочь.
А дальше встретил он людей,
Но, — боже сохрани! —
На поле стену из камней
Построили они!
„Там птица вьет гнездо свое,
— А мы вокруг скорей
— Построим стену, да ее
— Не выпустим, ей-ей!"
„Такие дурни мне смешны, —

Сказал шериф опять,
— Она вспорхнет поверх стены,
— А вам и не поймать!“
„Ну, не додуматься вовек!
— Да так ли или нет?
— Вы — очень умный человек!“ —
Услышал он в ответ.
И дальше едет он вперед,
Но, правый боже, вот
Какой-то дурень дверь несет —
Навстречу к ним идет!
„Оставил дома кошелек,
— А дверь несу с собой,
— Чтоб вор, открыв ее, не мог
— Зайти ко мне домой!“
Сказал шериф: „Какой болван!
— Ты лучше кошелек
— Всегда с собой клади в карман,
— А двери — на замок!“
„Не догадался б я вовек! —
Тот дурень отвечал,
— Вы — самый умный человек,
— Какого я встречал!“
„Уж очень глупый здесь народ!“ —
Сказал один солдат.
„Так пусть их дьявол всех возьмет! —
Шериф решил: — Назад!
— Король поймет, конечно, сам —
— Господь его храни, —
— Нельзя же верить дуракам,
— Надеяться на них!“
Поворотил шериф коня,
За ним — его отряд,
И все, молчание храня,
Поехали назад.
Король услышал про Готам,
Нахмурился, суров.
С тех пор Готам известен там,
Как город дураков!
В Готаме — много шутников,
Смеялись все не раз:
„К нам ездит больше дураков,
— Чем в городе у нас!“

НЕВЕСТА СЕРЖАНТА ШУМИЛОВА

Вот уж какой день в одно и то же время, после вечернего обхода, в дверь моего кабинета стучатся, неизменно тихо, отрывисто.

Я знаю, это сержант Шумилов из четвертой палаты, и уже привыкла к его посещениям, как к неизбежному.

Он войдет и спросит разрешения поговорить.

Потом начнется, уж который раз, одно и то же. Сначала сержант очень вежливо, будто впервые, осведомится:

— Товарищ военврач III ранга, разрешите узнать, когда можно выписаться из госпиталя?

В тон ему я начинаю говорить о характере его ранения и о последствиях, какие могут быть, если не долечиться. Шумилову давно все это отлично известно, но он покорно выслушивает меня. Только глаза наливаются нетерпением. Я знаю, в эти минуты сержант ненавидит меня.

— Товарищ военврач III ранга, вы задерживаете боеспособного, вполне боеспособного человека, — голос у Шумилова возмущенный, рыкающий. И потом неожиданно меняя тон, сержант начинает меня упрашивать:

— Докторица, милая, ну разве можно такого, как я, на койке держать? Пожалейте!

— Сердце у меня или куриные потроха, чорт бы меня побрал! — Опять загорается он и стучит по столу подвернувшейся книгой.

— Сердце или потроха?!

Ох, и надоел же мне этот большой, хороший парень. Ох, и надоел! И до чего смешны и по-детски наивны все его старания обмануть врачей. Я вижу, как во время осмотров и перевязок он силится скрыть боль и широко, широко улыбается. Мне-то хорошо известно, чего стоит ему эта улыбка.

Вот и сегодня он вошел и начал по своей обычной программе: „Разрешите поговорить и узнать..." Но потом

осекся и замолчал. Я уже считала разговор благополучно законченным и принялась просматривать историю болезни вновь поступившего раненого, а Шумилов все сидел и молчал. Он сорвал со стоявшего у меня на столе букета ромашку и пересыпал с ладони на ладонь острые, белые лепестки.

Я украдкой следила за Шумиловым. Лицо у него было сосредоточенное, даже суровое, а в глазах столько боли. Мне было от души жаль его.

Потом он разложил лепестки на мраморной подставке чернильницы и неожиданно сказал:

— Была у меня девушка, любимая девушка, невеста. Маринкой звали ее. Летом в ее комнате на подоконнике стояла большая стеклянная банка с цветами. Маки, васильки и вот такие ромашки. Ей нравились яркие крупные цветы. Она все любила такое — сержант широко развел руками,—если солнце, так горячее, если мороз, так чтоб дыхание забивало. Вот и я ей приглянулся—такой саженный.

А сама она — глаза Шумилова налились хорошим, теплым светом и чуть сощурились, будто разглядывали кого-то,—с воробушка, такая маленькая, тоненькая. Иной раз даже неловко перед ней было, что угораздило меня таким громоздким вырасти.

Я не знаю, была ли Маринка красивой. Но у нее были хорошие серые глаза. А брови широкие, светлые, озорные. И не было для меня никого краше этой девушки.

В школе мы сидели на одной парте и очень ссорились. Я выдергивал из ее кос ленты, а она подбрасывала в мой ящик больших, черных жуков-рогачей.

А потом... потом мы вместе ходили в лес. Лес у нас смешанный: сосна, кедрач и меж ними будто заблудились белые березы. Они сбегают по откосу прямо к Иртышу и глядятся в воду. Маринка любила смотреть, как шел по реке пароход и рассекал путаные тени деревьев. Солнечные пятна плыли по темной хвое сосен, потом живым, чистым светом вспыхивали на березняке и тонули в воде.

Я был тогда студентом плодоовощного института и рассказывал Маринке, какие сады выращу на нашем берегу. У нас в Усть-Ишиме очень много ягод, а вот путного яблока не встретишь. А мне хотелось яблок, настоящих яблок.

Шумиловские яблоки из Усть-Ишима! Это, кажется, называется честолюбием. Но я уже видел их, будто наяву,— крупные, тяжелые, налитые душистым соком, как малень-

кие боченки, до краев наполненные золотым вином. У них такая нежная, тонкая кожура и розовая подпалина на боку. Я рассказывал, а кругом пахло лесной малиной, сосной, травами. И мне казалось, что мои яблоки будут именно так пахнуть.

А Маринка вышивала. Может быть мои воспоминания излишне идилличны. Но сейчас мне хочется вспомнить именно об этом: о яблоках и вышивке.

Пальцы у нее были чуткие, быстрые. Я мог подолгу следить, как двигалась в ее руках игла. Тонкое жало вопьется в ткань, на какую-то долю секунды остановится, потом вынырнет и снова продолжает свой путь, оставляя за собой шелковый след. На полотне вырастали штрихи. На моих глазах они множились, уплотнялись и всегда неожиданно для меня возникал узор.

Шумилов достал из бокового кармана своего халата плоскую черную коробку и раскрыл. В коробке лежал, завернутый в вощеную бумагу, небольшой кусок светлой ткани. Сержант бережно развернул ее.

По светлому полю были разбросаны цветы. Красные, похожие на капли теплой крови, маки; васильки, такие яркие, будто каждый лепесток облит синим пламенем; спокойная молочно-розовая гречиха. Тонкие, кудрявые сережки душистого медка путались в стеблях повилики и ромашки, ромашки — крупные и мелкие, белые и чуть тронутые желтизной, с сердцевинами, как маленькие пылающие солнца.

И такое обилие живых горячих красок было в этом небольшом узоре, так тонко ложились тени, что, думалось, дотронешься — и ощутишь пальцами нежную хрупкость и прохладу живых лепестков.

Я невольно протянула руку, как это делают, когда видят настоящие цветы.

— Да ведь это работа художника!

— Художника, — подтвердил Шумилов. — Она и готовилась той осенью поступить в художественное училище. А летом началась война. Я не мог заниматься прививками черенков и мечтами о будущих яблоках в такое время. И не дожидаясь повестки, пошел в военкомат. Маринка тоже решила уехать добровольцем на фронт. Но я решительно был против такой затеи. Да, я называл затеей это ее желание.

— Ну, как, как ты поедешь на войну такая маленькая, тоненькая? Разве с такими руками вышивальщицы можно что-нибудь сделать на фронте?

Правда, она умела метать гранаты и даже метко. Но одно дело метать их на стадионе, а другое — на фронте.

И к тому, — Шумилов лукаво скосил глаза, будто собирался подтрунить над кем-то, — она была изрядной трусихой. Мне никак не удавалось научить ее плавать, потому что она боялась воды. Ночью оставаться одной дома ей тоже было страшно. А собак! Собак она боялась невозможно, даже самых паршивых маленьких шавок. Она делала крюк в три квартала, чтобы обойти двор, где жил рыжий, сварливый пес Тюрька.

— Нет, не тебе, Маринка, итти на войну! Лучше вышей мне на счастье платок и почаще пиши письма.

Мы тогда очень крепко поссорились. А потом Маринка вышила мне на счастье платок и вместе со мной уехала на фронт. Нас зачислили по нашей просьбе в одну часть.

Как она вела себя на фронте?

Шумилов поднялся со стула и широко зашагал по комнате. Обо мне сержант, очевидно, уже совсем забыл и вспоминал сейчас только для себя.

— Однажды ей поручили эвакуировать из части в госпиталь раненых. По дороге санитарную машину разбомбил немецкий самолет. Автобус загорелся. Шофер был убит осколком снаряда. Маринка пробилась через огонь и начала выносить раненых. Она вынесла на своих руках из огня двадцать тяжело раненых людей, а потом 18 километров шла пешком в ближнюю деревню за транспортом.

Где взялись у нее силы, не знаю. В часть она вернулась измученная, усталая, вся в ожогах. Мне так хотелось взять ее на руки, пожалеть, приласкать. И я не посмел, понимаете, не посмел.

А было и такое.

Маринка подобрала в степи раненого и перевязывала его. В это время из-за ближнего косогора показался немецкий танк.

Она мне потом рассказывала, как стало ей страшно и показалось, что башенные щели глазами следят за ней, подстерегают каждое ее движение, и никуда не спрячешься от них. И будто во всем мире не осталось никого, кроме этого большого бронированного танка и ее — маленькой, безоружной девушки.

Хотелось бежать или спрятаться, втиснуться в землю, раствориться в ней, исчезнуть. Но она не побежала, не спряталась, а принялась перетаскивать плащпалатку с раненым в ближний кустарник. Даже винтовку бойца не забыла прихватить.

А танк резко повернул и понесся к соседней лощине. Там он остановился, потом снова пополз и снова остановился. Он полз то вперед, то назад, то круто сворачивал и топтался на одном месте, как слепой взбесившийся зверюга. Маринка сначала не могла понять в чем дело. Забыв всякую осторожность, она приподнялась. И ярость обожгла все ее тело, сдавила горло. Она даже кричать в это мгновение не могла.

Теперь она все поняла. Танк давил гусеницами раненых, которых она на время перенесла в эту укрытую лощину.

Почти ничего не видя от ненависти, она схватила лежавшую на плащпалатке винтовку и кинулась к танку. В ту минуту она еще не знала, что будет делать. Она только видела раздавленные тела людей, она только чувствовала, что тут совсем рядом за броней сидит враг, которого нужно уничтожить.

Со мною так тоже бывает, когда я очень возмущен. Тогда уже не рассуждаешь, не думаешь о себе. С разбегу она вскочила на танк. Входной люк был приоткрыт и Маринка выстрелила в щель раз, другой.

Танк заметался. А Маринка продолжала стрелять и кричала: „Вылезай, вылезай гадина!" Она потом рассказывала, как от ненависти у нее тогда свело пальцы и хотелось взяться за винтовочный штык, бить, колоть, рвать на части эту гадину, чтобы руки чувствовали, а глаза видели ее погибель. О, как я хорошо ее сейчас понимаю!

А танк еще раз метнулся в сторону и остановился.

В этот же момент откуда-то со стороны застрочил пулемет. В плечо Маринки ткнулась пуля, девушка свалилась с машины и потеряла сознание. Потом очнулась, открыла глаза и увидела, что прямо на нее идет второй немецкий танк, а рядом в траве лежит кем-то оброненная „Фенька" [1]. Маринка потянулась к ней и зажала в руку. Теперь нужно было отползти в сторону и метнуть гранату в приближающийся танк. Но рука потеряла упругость и тело стало тяжелым.

Нет, не под силу ей было поднять такое тело, взмахнуть такой рукой. А граната была единственной и взорваться ей надлежало только под гусеницами танка. Она напряглась и подтянулась навстречу машине. Танк был уже совсем близко. Маринка рассказывала, что в эти минуты

[1] Так бойцы называют гранату.

не чувствовала ни боли, ни страха, не думала, что вот сейчас на нее навалятся тонны железа. Она боялась только одного—что танкист заметит гранату и откатит назад. Она даже переложила „Феньку“ на грудь и прикрыла ладонью.

И вдруг острый, короткий звук выстрела врезался в лязг гусениц. Танк рванулся назад и из его выхлопов потекло пламя.

Больше Маринка ничего не помнила. А когда очнулась, первое, что она увидела—это развороченную груду танка и незнакомого красноармейца, прочищавшего противотанковое ружье.

Рана на ее плече была туго забинтована.

Красноармеец кивнул Маринке, как давнишней знакомой и, указав на подорванный танк и на тот целехонький, экипаж которого расстреляла Маринка, сказал: „Чисто сработано, девушка“.

Маринке очень понравились эти слова и потом, когда она была чем-нибудь довольна, всегда говорила: „Чисто сработано, девушка“.

Каждый раз, когда она уходила на задание, я очень тревожился. Но я не хотел бы, чтобы она была иною. Нет, не хотел!

Шумилов подошел к окну и широко распахнул его.

В канун того последнего боя мы сидели с ней на луговине. Я так все это помню, будто сейчас она рядом со мною. И как поправляла она волосы у правого виска, и какие травы росли вокруг. Маринка прикрывала глаза и узнавала их по запаху. Тут были: душистая вика, шалфей, серебристые кукушкины слезки, заросли тимофеевой травы. Очень много мяты и медуницы.

Потом из-за куста шиповника на самую середину поляны выскочил пестрый хомячок. Он присел на задние лапки и острым красным языком облизывал свои усы, будто объедался солнцем. Глаза у него были темные и блестящие, как смородины, обрызганные росой. Маринка смотрела, смотрела на веселого зверька и вдруг сказала: „Жить бы да жить, до самых ста лет“.

А ночью наша часть форсировала реку Зушку и вплотную подошла к местечку Деревинки. Это был сильно укрепленный и стратегически важный пункт немцев. Сопротивлялись они отчаянно... На переднем крае был ранен помкомвзвода Заикин. Трех красноармейцев, бывших с ним, скосило наповал.

Маринка, а вслед за ней несколько бойцов, поползли к Заикину.

Я не имел права оставить свой рубеж и мог только прикрывать их огнем.

Немцы, очевидно, опознали в Заикине командира и тоже потянулись к нему. Немцам было ближе. И мелкий кустарник, росший по ту сторону большака, хорошо маскировал. Я заметил их уже позже, когда они были совсем близко от Заикина.

Маринка опередила бойцов. Я видел, как быстро она бросала вперед свое тело. Защитная гимнастерка ее то таяла в зелени травы, то отчетливо возникала на бурых оголенных плешинах земли.

Несколько раз она приникала к земле и останавливалась. Очевидно низко над нею пролетали пули. Я не знаю, задело ли ее, но она ползла дальше и первой была возле Заикина.

Вот она склонилась над ним, обхватила рукой.

И тут я разглядел немцев. Они были совсем близко

Теперь все мое внимание сосредоточилось на зеленых длинных тенях, быстрыми бросками приближавшихся к Маринке. Я взял на мушку самого ближнего и так напряг зрение, что увидел руку немца, протянувшуюся к Маринке. А может быть, это была только галлюцинация. Но я был зорок, как никогда в жизни. Это я знаю твердо. Зорок и точен.

Я выстрелил, и пуля моя сделала недолет, одна за другой.

Дистанция... дистанция была велика! — Голос Шумилова упал до шопота.

— Они утащили ее. Но я увидел Маринку еще раз.

Местечко Деревинки мы заняли через несколько дней. Сразу за околицей его начиналась роща. Роща эта похожа на наш Шумихин лес. Только, кроме берез, тут еще росли и клены. Листья на кленах уже пожелтели, а березы стояли совсем зеленые, все в искрах от солнца. И еще мне все чудился запах малины, хотя отошла она давно, да и нет ее в здешних местах. А под ногами хрустел опавший лист: желтый, розовый, коричневый. Я вспомнил: Маринка любила ходить по сухим листьям и слушать их хруст.

И вот в такой роще я увидел Маринку. Она висела на березе совсем нагая. Тело ее было в кровоподтеках и рваных ножевых ранах, а на лбу вырезано грязное, площадное слово...

Мы похоронили ее тут же в роще под березою и выступили из Деревинок. Ночью был бой, меня тогда же ранили.

Шумилов замолчал.

Как вел себя сержант в этом бою, мне рассказывали его товарищи. Гранатами Шумилов подбил два танка. Раненный в грудь и бедро, он сцепился врукопашную с немецким офицером. Только третье тяжелое ранение заставило его покинуть поле боя.

— Доктор, — прервал свои воспоминания Шумилов, — доктор, теперь вы понимаете, что меня нельзя задерживать, что мне надо в бой.

Да, я понимала его, понимала вопреки всем медицинским показаниям.

Б. БУХШТАБ

ПОЭЗИЯ ПЕТРА ДРАВЕРТА

(К СОРОКАЛЕТИЮ ПОЭТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Первые стихи П. Л. Драверта появились в печати в 1903 году, первый сборник вышел в 1904 г. Последнее стихотворение Драверта помечено 1944 г. Несмотря на длительность творческого пути, на новых стихах Драверта нет налета архаичности; Драверт — действующий поэт, а не ветеран. Он появляется на страницах сибирских изданий, как наш советский современник.

Причина такого творческого долголетия в том, что Драверт еще в раннюю пору своего творчества нашел свою тему и свой подход к ней, — и эта тема и этот подход не устарели и в наши дни.

Тема Драверта — Сибирь. „Тебе одной мои напевы", — говорит он, обращаясь к „своей великой Сибири", и почти не преувеличивает. Драверт отдал Сибири все труды своей жизни, — в том числе свое поэтическое творчество. О Сибири он говорит, как влюбленный. Как всякий влюбленный, — он пристрастен. Таежная морошка для него вкуснее всех фруктов мира. С каким сочувствием описывает он тоску хантыйской девушки, заброшенной судьбою на юг, в акмолинские степи:

Где болот непроходных зеленые пятна?
Где родная промерзлая в камень земля?

Это сочувствие — не со стороны. Поэт и сам мечтает в земле ненцев:

Ах, остаться бы тут до конца, навсегда,
И водить тонконогих оленей стада,
Серебристую нельму ловить
И на лыжах по насту скользить.

Страшные — по наслышке — места сибирской ссылки становятся заманчивыми под пером Драверта:

Я приду с распадом льдов Вилюя —
В дни, когда, заливши берега,

Он взыграет радостно целуя
Склоны гор, где хмурится тайга.

Я вернусь, когда в цветной одежде
Средь озер задышит грудь земли,
И меня приветствуя, как прежде,
Громким криком встретят журавли.

Сибирь в русской литературе долгие десятилетия представлялась „страной изгнания", мрачным, мерзлым, безлюдным и безжизненным краем. Так смотрели на эту страну писатели, попадавшие сюда обычно в качестве политических ссыльных и рвавшиеся отсюда назад — в Европейскую Россию.

Подлинное лицо Сибири начало возникать в литературе, когда появились писатели, почувствовавшие величественную красоту суровой Сибири, восхищенные размахом, богатством, полнокровным здоровьем этой бескрайной страны. Сборник Драверта „Под небом Якутского края", вышедший в 1911 г., был заметной вехой на пути художественного познания Сибири.

Деятельность двух поэтов в советскую эпоху связана с Омском: Петр Драверт — поэт старшего поколения, пришедший в советскую литературу из дореволюционной, Леонид Мартынов — поэт послеоктябрьского поколения. Оба омских поэта целиком посвятили свое творчество Сибири — и на сибирской теме выработали то творческое своеобразие, то „лица необщее выражение", которое нельзя не признать за каждым из них. Друг на друга они совершенно не похожи. Мартынова вдохновляет сибирская история, летописи, преданья и поверья, колорит разных эпох жизни Сибири, прошлое старинных городов, столкновения разных народов, культур и влияний на территории Сибири. Драверт не вдохновляется историей, он поэт сибирской природы во всех ее сезонах, ландшафтах и климатических поясах.

Не знающим стихов Драверта может показаться странным: что это за специализация — „поэт сибирской природы"? Неужели сибирская степь или сибирский лес так уж отличны от европейских, что, читая стихи о них, читатель почувствует себя перенесенным в Сибирь? Ведь если поэт только извещает читателя в заглавии или в тексте стихотворения, что речь идет о Сибири, — подобные извещения никакого своеобразия пейзажу не придадут. Разве в поэтическом пейзаже можно рассмотреть такие детали, которые бы его так ясно „районировали"? Дать

представление о неповторимой специфичности именно данного района может геолог, ботаник, географ, — не поэт. Поэт видит мир более обще, чем ученый.

П. Л. Драверт — геолог, минералог, натуралист с широким научным кругозором, исследователь, полжизни провелший в экспедициях на необозримых пространствах Сибири, ученый, труды которого известны и за пределами Советского Союза.

Не знаем, помогла ли Драверту, как ученому, поэтическая интуиция, но наука бесспорно оплодотворила его поэтическое творчество. Нельзя разграничить, где один и тот же человек подходит к миру, как поэт, а где — как ученый. Восприятие едино, — и поэтическое видение мира в поэзии Драверта очень обогащено апперцепцией ученого. Там, где другой поэт видит разбросанные кости, Драверт видит кости носорога или мамонта, остов оленя или

разрозненный скелет
Бизона, здесь бродившего когда-то,
В упадке древних ледниковых лет.

Другой поэт присядет на камень, Драверт — „на порфировый отломок". Другой скажет о звериных следах на лесных тропинках, Драверт отметит

Лесные змеистые тропы, куда не доходят метели,
Медведем разрытую почву и след осторожной лисы.

Не раз воспевалось в поэзии северное сиянье, но не такими словами:

Здесь коротко знойное лето,
Сурова, нещадна зима;
Но волны полярного света
Таит охлажденная тьма.

И в бархатной бездне лазури
Взамен незакатного дня
Возникнут магнитные бури
С волшебною пляской огня.

„Волны света", „магнитные бури" — не этими терминами говорили поэты, не эти понятия являлись в их сознании при виде северного сияния.

В т Драверт описывает горячие источники в Колымском крае, и привычная мысль геолога естественно прослеживает путь этих ключей из глубины земли:

Безжизненно кругом в пустыне охлажденной
Лежат холмы снегов, синея в темноте,

И только изредка звездой освобожденной
Промчится метеор в полночной высоте.

Но в почве ледяной дорогу пролагая,
Попрежнему ключи, как в летний день, бурлят
И, влажной теплотой снега уничтожая,
Потоки вод живых в расщелинах струят.

Под пологом густым клубящегося пара
Их рокот говорит окрестной тишине
О неусыпности гигантского пожара
В недосягаемой подземной глубине...

И тем же взглядом геолога — не только в ширь горизонта, но и в глубь земли — запечатлено описание полярных цветов:

Обласканы светом и зноем,
Растут и не знают цветы,
Что ниже под почвенным слоем,
Лежат ледяные пласты.

Лежат безучастно внимая
Журчанию вешних ключей,
Холодные к первенцам мая,
К игре переменных лучей.

Научная точность наблюдения чувствуется и там, где не бросается в глаза специальный уклон наблюдательности.

Тропами изюбрей всходили бы мы
На горные осыпи, острые скалы,
Где снег, залежавшись от прошлой зимы,
Наполнил зазубренных трещин провалы.

Тропы изюбрей, горные осыпи, снег, залежавшийся от прошлой зимы, зазубренные трещины, — порознь каждое из этих восприятий могло бы встретиться и у другого поэта, но совокупность их выдает человека с профессиональным навыком наблюдения природы. Это — навык отдавать себе точный отчет в своих впечатлениях, отделять главные признаки от второстепенных, называть любое явление, качество или свойство наиболее точным словом.

Точность характеристики, дисциплинированность мысли — качества очень нужные советской поэзии. Наши поэты нередко болеют недостатком точности, словесной неряшливостью, смысловой расхлябанностью. Отчасти это наследие разных „имажинизмов“ и тому подобных „вольных“ течений, расшатывавших смысловые устои поэтиче-

ской речи; недостаточность или спутанность мысли легко сходила за поэтическую „специфику". У Драверта таких „скидок" на стиховую речь нет. Его слово точно и четко; чувствуется, что поэт за каждое слово отвечает, что у него могут быть стихи удачные и неудачные, но не может быть легковесных, непрочувствованных стихов. И это отношение поэта к своему творчеству ценится читателем: Драверт вызывает доверие. Драверт, перечисляя впечатления на пути „до Олекмы от вод Кемпендяя соленых", отметит

Стада тонконогих оленей, сохатого скорбные очи,
Крик филина вечером темным, тяжелый полет глухаря, —

и читатель, не видавший взгляда лося или полета глухаря, верит, что сохатый смотрит грустно, а глухарь летит тяжело. Доверие читателя к поэту — это то, что не легко завоевывается, а между тем оно необходимо для того, чтобы читатель переживал произведение, а не пробегал его глазами. Оно основано на вере в знание и искренность писателя, в его уменье увидеть и сказать нечто нужное и подлинное.

Теперь понятно, чем достигается особая локальность пейзажей Драверта: богатством, конкретностью, точностью, детализацией наблюдений, уловлением и передачей связи между различными явлениями природы, — взглядом, проникающим за пределы видимого вдаль и вглубь.

Драверт действительно имеет право озаглавливать свои пейзажи точными географическими обозначениями („В алтайской согре", „В Олекминских пещерах", „В пади Чучур-Мурана", „В горах Хараулаха"), назвать стихотворение не „Закат", но „Закат на Лене во мгле пожара тундр", уточнить в подзаголовке латинским названием русское имя сибирского растения или расположить стихи в сборнике по географическому принципу. В самом деле, в сборнике избранных стихотворений Драверта „Сибирь" (изданном в Новосибирске в 1923 году) расположение стихов сперва кажется совершенно случайным: нет ни хронологического порядка, ни тематической группировки; но, вглядываясь видишь, что стихи расположены в определенном порядке: с запада на восток. Бассейн Оби, бассейн Енисея, бассейн Ангары, бассейн Лены, бассейн Яны, бассейн Колымы.

Поэзия Драверта — один из редких случаев удачи „научной поэзии". Течение под таким названием возникло в нашем веке во Франции, перекинулось и в Рос-

сию, где имело таких видных адептов, как Валерий Брюсов (в последний период его творчества). В основе „научной поэзии" лежала мысль о том, что поэзия в своем видении мира безмерно отстала от науки; что дико поэту плестись в хвосте современного человечества, мировоззрение которого основано на положительных научных данных; что пора перестать поэтам шаманить, опираясь в своих сближениях и метафорах на первобытное мышление; что поэзия должна перестроиться в своих идейных основах для того, чтобы осуществлять свое вечное назначение — быть руководительницей ума и чувства современников.

То, что было верного в этих мыслях, обесценивалось неудачной практикой „научных поэтов", которая сводилась обычно к зарифмованному повторению более или менее популяризованных научных истин. С точки зрения поэзии стихи оказывались безнадежно прозаичными, с точки зрения науки стиховая речь только мешала делу. Классический род описательно-дидактической поэзии не хочет возрождаться в наше время.

Подлинное поэтическое произведение может возникнуть на основе только такой мысли, которая органически созрела из зерна, запавшего в сознание поэта, а не заимствована извне со специальной целью „обработать" стихотворной техникой чужеродный материал. „Научная поэзия", тем самым, возможна лишь для такого поэта, которому научные мысли так же интимно и кровно близки, как мысли о любимой женщине, о друге, о счастье, о родине. Поэт должен для этого быть ближе к науке, чем хорошо образованный диллетант.

У Драверта есть стихотворение „Пловучий остров". Поэт описывает остров, плывущий по Лене. Он рассказывает о деревьях, травах, птицах, животных и насекомых на странствующем острове. Он мысленно прослеживает судьбу этого острова после того, как тот скрылся из глаз. Врежется ли он в отмель, пустит корни и станет новым неподвижным островом на Лене. Погубит ли его буря у грани полярного круга со всем его населением? Или он доплывет до океана и там будет сдавлен и разрушен айсбергами?

Стихотворение написано просто и непритязательно, но разработка подобных тем доступна немногим поэтам.

Если бы другой поэт и увидел подобный редкостный феномен, что мог бы он сказать о нем? В силах ли было бы его воображение понестись вслед за уплывшим ост-

ровом? Ведь поэтическая фантазия Драверта окрылена здесь специальными знаниями натуралиста.

Драверт умеет поэтически передать восхищение, охватывающее ученого перед редкими явлениями природы: пловучим островом, ложными солнцами, светящимися птицами, или световой реакцией альпийской слюды на укол:

Когда иглой стальною
Ее уколешь ты,
Она звездой ночною
Блеснет средь темноты.

Поэта восхищает красота и остроумие научной гипотезы, и он умеет увидеть и представить мир в новом свете, внезапно проливаемом научной теорией.

В „Журнале Русского физико-химического общества“ (как добросовестно, с указанием номера журнала, сообщает автор в примечании к стихотворению) он познакомился со смелой теорией происхождения града, предложенной проф. Шведовым. „По этой теории градины являются своего рода метеоритами, вовлекаемыми из междупланетного пространства земным притяжением в круговращение вокруг земли, откуда они затем периодически сбрасываются с их орбит бурями, резко нарушающими вертикальное расположение слоев атмосферы“. Эта гипотеза увлекла П. Л. Драверта возбуждаемым ею чувством непосредственной связи между землей и бесконечным космическим пространством — и вызвала стихотворение о градинах, маленьких мирках, которые „извечно носятся“ в „пространстве мировом“.

Порой одни из них в бессменности движенья
Скрестят свои пути с орбитою земной,
И, слепо верные законам притяженья,
Свергаются в наш мир для участи иной.

Стремительно летя в воздушные пучины, —
Созданья темных недр холодной пустоты, —
Вращаются, светясь, космические льдины,
И тают их тела в объятьях теплоты.

И, выпав на утес, от зноя раскаленный,
Остатки хрупкие когда-то мощных масс,
Кончая век, быть может миллионный,
Последний скорбный свой переживают час.

А солнце превратит их скоро в пар незримый,
Сольется тесно он с громадой облаков;
И примем мы потом в плодах земли родимой
Частицы влажные исчезнувших миров.

Драверт может представить себе и описать в стихотворении пейзаж давней геологической эпохи или звездное небо, открывающееся не с земли, а с другой планеты.

Для того, чтобы научные сведения органически вошли в ткань стихотворения, нужно, чтобы они окрасились индивидуальным отношением поэта, спаялись с его лирическим образом. Вот этих-то „примесей" нет обычно у поэтов, которые хотят черпать готовые темы из резервуара научной мысли.

Удача Драверта в лучших его стихотворениях зависит именно от того, что наука связана для него с эмоциями, не менее достойными поэтического воплощения, чем традиционные чувства, искони разрабатываемые поэтами. Это эмоции ученого. Мы можем повторить о Драверте сказанное Гоголем о Ломоносове: „В описаниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта".

Открытие ценного ископаемого в горном кряже или нового элемента в лаборатории („Неизвестный еще элемент в енисейском берилле открыл я") наполняет Драверта восторгом и законной гордостью. Он рассказывает о своих лабораторных занятиях с таким вкусом, с такой нежностью к своим колбам и их содержимому, что его радость невольно передается читателю:

Я рощу в сосуде красные кристаллы, —
Радостный, свободный, благородный труд;
Словно в южном море алые кораллы,
У меня кристаллы красные растут.

Эмоциональность спасает „научную поэзию" Драверта от прозаичности. Правда, не всегда. Есть стихотворения (например, специально посвященные отдельным минералам), в которых Драверт не избегнул опасности. Наиболее спорен в этом смысле его словарь.

Неизбежно и ничуть не зазорно, что в стихи Драверта включено много местных названий. Флора и фауна Сибири — в значительной мере иные, чем в европейской части СССР. Не может же поэт заставить появиться осетра или сига там, где их нет, а есть таймень или ленок. Достаточно, чтобы читатель понял, что это местные

рыбы, — а что он их не представит себе зрительно — это не беда. В конце концов, каждый ли читатель ясно представляет себе сома или сазана, иволгу или жаворонка? Но ведь слабость зрительных представлений ничуть не мешает ему читать о том, как „звонко иволга кричит“ или „между небом и землей жаворонок вьется“. Пусть в стихах Драверта порхают махаоны, плавают крахали, растет „пахучий печальный багульник“, цветут „алые кипреи“. Только бы читателю было ясно хотя бы общее, родовое, так сказать, значение слова. Но этот минимум понятности не всегда в наличии у Драверта. Хорошо, когда в пляске тунгусов

Мокры эттербезы от капель росы.

Ясно, что это обувь, — и как же еще назвать обувь тунгусов: туфли, сандалии, просто обувь? Тут иначе не скажешь, это понятно и создает хороший колорит. Но это же стихотворение начинается словами:

Желтеют в просветах ветвей урасы.

И что такое урасы — читатель из контекста не узнает. В сборнике Драверта „Сибирь“ помещены примечания, разъясняющие наиболее непонятные слова. В прежних сборниках примечаний не было. Обратившись к последним страницам книги, читатель узнает, что ураса это летнее жилище тунгусов, бадаран — болото, сорма — сильный ветер, согра — заболоченный лес... Но право поэта снабжать собственные стихи комментарием — спорное право.

Дело, однако, не столько в понятности, сколько в дозировке незнакомых слов. Их надо ставить очень осторожно, чтобы не вызвать нежелательной реакции читателя. Читая строки вроде

Не для нас ли цветут акопит и дельфиний,—

читатель может вынести впечатление нарочитого щегольства и, пожалуй, вспомнит едкие слова Достоевского о пейзажах Тургенева: „Тут непременно кругом растет дрок, непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике“.

Еще более это относится к минералогической или кристаллографической терминологии в стихах Драверта.

Строчки вроде

Пирамидальные кристаллы киртолита,
Включенные в атласный ортоклаз, —

читатель-неспециалист вправе оценить, как педантическое нежелание пойти навстречу его восприятию. Если бы не хорошее звучание „заумного“ для рядового чита-

теля текста, здесь возникло бы впечатление безнадежной прозаичности.

Но такие „пятна" в стихах Драверта нечасты. От педантизма и прозаичности его стихи охраняет чувство природы, окрашенное энтузиазмом ученого.

Чувство природы в поэзии Драверта — это не эстетское, „незаинтересованное" любование прекрасным миром в его фиктивной неподвижности, — это отношение деятеля, активно вмешивающегося в непрерывный процесс всеобщего изменения, познающего природу в радостном труде, знающего, чего он от нее хочет:

Ах, сколько здесь скрыто чудесных камней
В разрушенных выходах жил пегматита!

Как подлинный ученый, Драверт чувствует себя всегда не просто в лесу, в степи или в горах, — но в безграничном мире. И этот мир не подавляет его, не вызывает в нем ни „космического ужаса", ни ощущения своего ничтожества перед величием мироздания. От этих настроений, весьма распространенных в поэзии сверстников Драверта, его страхует трудовой оптимизм работника, любовно погруженного в свой „радостный, свободный, благородный труд".

В свое время Кольцова называли поэтом земледельческого труда, хвалили его за то, что природа у него всегда берется в аспекте трудовой деятельности. Но разве только земледельческий труд имеет свою поэзию? Советская поэзия показала, как много возможностей для поэта заключено в труде рабочего. Высококачественный и разнообразный труд интеллигента до сих пор мало вдохновлял поэтов. Труд геолога-изыскателя, постоянно и активно общающегося с природой, часто путешествующего по труднопроходимым местам, — это труд особенно соблазнительный для поэта. Поэзия Драверта — поэзия интеллигентного труда. Этим она созвучна нашим дням, нашим устремлениям.

Из очерченной сферы тем Драверт выходит редко. О его любовных стихах можно повторить слова Тургенева, сказанные о стихах Фета: „словно бы предмета его любви вовсе не существовало". По крайней мере, образ любимой женщины никогда не возникает в сознании читателя. Чистый естественник по складу мировосприятия, Драверт не вдохновляется гуманитарной культурой, историей, психологией, бытом. В нескольких его стихотворениях разработана тема „предка", — но это всегда предок до-

исторический, современник мамонта, — и поэт смотрит на него глазами скорее палеонтолога, чем историка.

Конечно, известная узость диапазона тем снижает значение творчества Драверта. Ограниченность жизненных сфер, вдохновляющих поэта, могла бы создать у читателя впечатление монотонности, если бы Драверт был более продуктивным поэтом. Но его творческая продукция за сорок лет вообще невелика: пять небольших сборников, частично включающих тот же материал, редкие публикации в журналах и газетах.

Хорошо выработанный, музыкальный стих, разнообразный по метрическим формам, но всегда строго выдержанный в нормах классической метрики, гармонирует с этой заключенной в тесные пределы, не претендующей на большой масштаб и значение, но безусловно подлинной и самобытной поэзией. Скромный родник поэзии Драверта хочется сравнить с воспетым им светлым ключом в горах Кокше-Тау, которому подземным минеральным ложем „особая живительность дана". Такая живительность дана поэзии Драверта подземным ложем науки, по которому течет его поэтическая мысль.

Привет источнику и древним минералам —
Носителям бодрящих сил земли!

ПРЕДКАМ

Кто с палкою камень когда-то скрепил, —
Не думал о нас ничего,
Но молот он миру тогда подарил,
И вечен подарок его.

Кто вызвал из дерева Алый Цветок —
Огонь, поражающий тьму, —
Не знаем, но жизни могучий поток
Безмерно обязан ему.

Кто прутьями первый увязывал плот,
Чтоб новые видеть места, —
Не мог прозревать, что морской пароход
Возникнет потом из плота.

Не кажется дивом теперь никому
Ребячья игрушка — серсо,
Но я монумент бы воздвигнул тому,
Кто встарь изобрел колесо.

И как уважения нам не иметь
К упорному предков труду,
К тому, кто ковал самородную медь,
Кто тяжкую плавил руду?

Кто вырастил хлебный питающий злак
И диких зверей приручил,
На глиняной урне оттиснул свой знак
И женщину ткать научил?..

Не станем вести нескончаемый счет
Великим открытьям во мгле,
Но предкам безвестным и мудрым почет
Да будет всегда на земле!

БОЛИД

Когда над смутною громадой древних гор
Медлительно скользит по небу метеор
И шелест слышится загадочный в эфире, —
Вперяя жадный взор в огнисто-дымный след,
Я думаю о том, чего уж больше нет,
О кончившем свой век каком-то малом мире.

Из бездн Галактики свершив далекий путь,
Он скоро должен был низвергнуться на грудь
Земли, где мы живем, светилом дня согреты;
Но воздух, тормозя его, не допустил,
Лишив в слепой борьбе первоначальных сил,
Упасть в объятия чужой ему планеты.

Над гладями морей и паутиной рек,
В холодной высоте свой завершая бег,
В тончайший, зыбкий прах распался плотный камень;
И ярко озарив полуночную тьму,
В предсмертный краткий миг сопутствовал ему,
Как факел вспыхнувший, чудесный алый пламень.

ЯГОДЫ ТУНДРЫ

(Rubus chamaemorus L.)

Опьяняющим солнечным соком
Налились — и желтеют янтарно;
И верна неизменчивым срокам,
Смотрит осень на них светозарно.

Скоро снежные полосы лягут
На сырой кочковатой дорожке,
Но тебе наших северных ягод
Принесу я в таловом лукошке.

На созданья болотного лона
Не гляди вопрошающе-хмуро;
Ты забудешь бананы Цейлона,
Ананасы долин Сингапура.

Что мальтийские нам апельсины,
Виноград тихоструйного Дона,
Золотые лимоны Мессины,
Или вишни садов Альбиона?

Только здесь на просторах Сибири,
Наклонившейся к тундрам великим,
Зреют лучшие ягоды в мире,
Ароматом проникнуты диким...

Знаю, — утром, в остывшем стакане
Побродив мельхиоровой ложкой,
Ты пошлешь меня в зыбком тумане
За оранжево-желтой морошкой.

* * *

Мне было бы страшно попасть на планету другую
В путях ли познанья иль жуткой дорогой возмездья —
И помнить с предельною ясностью Землю родную
И видеть на своде полночном иные созвездья.

О, как тосковали бы вверх устремленные взоры,
Блуждая от края до края искрящейся чаши:
Знакомые звезды в другие сложились узоры,
Загадочно-странные, остро-чужие, не наши.

Пусть даже растения, реки, озера и камни
Такими же были, как в старом покинутом мире,
Но все же давила бы душу клещами тоска мне,
И я голодал бы глазами, как нищий на пире...

Свидетели детства и юности буйной и страстной,
Огни, озарявшие мыслей кипучих боренья,
На небе моем вы останетесь вязью прекрасной,
Немеркнущей повестью светлых дорог откровенья.

Я слышал, что надо текучих годин миллионы,
Чтоб вам для Земли перестроить свои сочетанья;
Так пусть беспрепятственно движутся звезд легионы,
Как движется все в безграничном кругу Мирозданья.

НА ГОРЕ СЕМИЗ-БУГУ

Под ногами всюду камень синий,
А кругом, куда ни кинешь взоры,
В очертаниях волнистых линий
Улеглись желтеющие горы.

Наслаждаясь острым ароматом
Диких трав, томящихся на зное,
Я иду пологим длинным скатом,
Повторившим небо голубое.

Миг сменяет новое мгновенье,
За секундой падает секунда,—
И растет, не тая, изумленье:
Да ведь это — валуны корунда!

В щебне, в гальках драгоценный камень,
Украшавший некогда короны,
Точно синий на угольях пламень
Он покрыл темнеющие склоны.

Где птенцов орлица сторожила
Среди скал, нетронутых росою,
Там в разрезе голубеет жила,
Протянувшись мощной полосою...

Иль природа тут шутила шутки,
Разойдясь в необозримо-давнем?
Васильки, фиалки, незабудки,
Вы бедны пред этим тяжким камнем!

Пусть не раз любой из вас отмечен
И в стихах и прозою ученой,
Но ваш цвет, увы, недолговечен,
Как и летний ваш убор зеленый.

Впрочем вы мне вспомнились случайно,
А корунд вошел в мое вниманье;
Все сложилось в нем необычайно —
Твердость, вес, окраска и названье.

Миллионы долгих лет скрываясь
В непроглядной темени Эреба,
Он теперь, как будто улыбаясь,
Смотрит вглубь ласкающего неба.

Вместе с ним рутил кроваво-красный,
Белые чешуйки мусковита.
Хорошо, что день отменно ясный,
Хорошо, что все глазам открыто!

Я стою, прикован восхищеньем
К древнему сокровищу увала.
Казахстан, гордись месторожденьем
Своего красавца минерала.

ЛЕНОК

(Brachymystax lenok Pall.)

Где корни тополей свисают над водой
Прозрачной, как хрусталь, саянской горной речки
И дикий хмель завил в кустах свои колечки,
Стою на страже я, вооружась удой.

На дне толпится рой играющих миног,
Но безразличен взгляд не к этому готовый:
Здесь ходит, шевеля хвостом, пятифунтовый
Заманчивый серебряный ленок...

Товарищ медленно блуждает с котелком,
К обещанной ухе душистый лук срывая;
Болтается комар, над ухом напевая,
И тянет от костра приветливым дымком.

Вот тень подводная упала на песок,
Напружинилась леса, сгибая удилище;
И быстрый взмах руки, — попался ты, дружище,
Увертливый серебряный ленок!

СОЛЯНОЙ КЛЮЧ

Есть Намана — река, приток могучей Лены,
Там видел я: змеясь вдоль известковых плит,
Тяжелою струей, без легкой белой пены,
Неиссякаемый холодный ключ бежит.

Следы оленей там и кабарги пугливой,
Сохатыми во мху намечена стезя;
Они идут сюда в час ночи молчаливой,
Но жажду утолять такой водой нельзя.

Источник солон так, что звери лишь немного
Омочат языки в углубинах камней, —
И снова по тайге ветвится их дорога,
Но соль целебна им, они нуждались в ней...

Когда, свершая путь мертвящего дозора,
Появится зима в уборе снежных туч,
Застынут и ручьи, и реки и озера, —
И только соляной не замерзает ключ.

Живой, нескованный — он радуется воле,
Знакомых ждет гостей, но звери не идут;
Растут на дне его, блестя, кристаллы соли,
И снежные бугры по берегам растут.

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

Ты думаешь: в море упала она,
Звезда голубая, — до самого дна
Дошла и зарылась в зыбучий песок,
Из чуждого мира случайный кусок...

Не глыба, не плотный объемистый ком, —
Частица, сравнимая с мелким зерном,
Влетела стремглав в атмосферу Земли
Из темной, холодной небесной дали.

И вмиг раскалив окружающий газ,
Блестящей звездой показалась для глаз,
Несущейся к черному зеркалу вод,
В себе отразивших ночной небосвод.

Пучины воздушные глубже морских,
И наша звезда не промерила их, —
Угасла в далекой немой высоте,
Доступной пока только смелой мечте...

Угасла не даром: в бесчисленный круг
Ее закатившихся прежде подруг
От Космоса некая часть попадет,
Включаясь на веки в земной оборот...

Пусть будет не долог твой жизненный путь,
Но можешь и ты лучезарно сверкнуть,
Оставив живущим волнующий след,
Строитель, художник, ученый, поэт!

Гвардии ст. лейтенант К. ТАЮРСКИЙ

СОЛДАТСКАЯ СЛАВА

— Нашего полку прибыло,—добродушно пошутил один из бойцов, указывая на молодого красноармейца, одетого в новую, широкую солдатскую шинель.

Бывалые солдаты, у которых вся одежда пропахла пороховым дымом и сырой окопной землей, весело улыбались, глядя на новичка, сидевшего под деревом в ожидании командира. Им, опытным гвардейцам, этот необстрелянный, невидный ростом человек казался мало пригодным для такого дела, как гвардейский пулемет.

Боец молчал, делая вид, будто он ничего не слышит, а если и слышит, то не принимает во внимание.

Пришел офицер Шарутин. Несколько голосов доложило:

— Принимайте пополнение, товарищ гвардии лейтенант.

А Шарутин, пожимая плечами, сказал:

— Гм... что ж, пусть живет. Странно только, зачем его прислали именно ко мне, в пулеметный взвод?

Он подошел к новичку. Тот вытянулся.

— Из какого оружия стрелял?

— Из станкового пулемета,—бойко ответил звонким, девичьим голосом новичок.

— А зовут тебя как?

— Василий Казанцев.

— Что ж, Василий Казанцев, связным пойдешь. Пулемет-то для тебя велик.

— Я пулеметчиком хочу быть. Для этого и прибыл к вам. Мы, сибиряки, не привыкли бояться трудностей.

— Сибиряк? Ну ладно, посмотрим, — согласился офицер.

Казанцев принял пулемет. Бойцы наблюдали за тем, с

какой любовью он протирает части, и по укоренившейся солдатской привычке старались советом помочь молодому воину.

— Главное не теряться, и все будет в порядке, — предупредил бойца знатный пулеметчик Шукуров, чья слава гремела по фронту.

Два дня и две ночи прошли спокойно. На третью ночь немцы зашевелились. После артиллерийской подготовки они поднялись в контратаку. Для Василия Казанцева эта ночь была, как потом он сам говорил, „крещением в огоньке".

В первые минуты, когда неожиданно начали рваться мины и снаряды, а впереди защелкали пули, Василий присел на дно окопа и весь сжался. Ему казалось, что каждая мина летит прямо в его окоп, и он невольно вздрагивал.

— Если так воевать, то немцы, пожалуй, нам пересчитают ребра,— услышал он голос офицера Шарутина.

Казанцев торопливо схватился за рукоятки пулемета — и длинная очередь трассирующих пуль разрезала ночную тьму.

— А стреляешь ты совсем не туда, куда надо, — сказал Шарутин.—Стрелять, уважаемый, надо в этом направлении,—Шарутин указал рукой в сторону лощины, заросшей кустарником.

От этих слов Казанцева бросило в жар. Лицо покрылось краской стыда, и, еле сдерживая набежавшую слезу, он сказал:

— Есть стрелять по лощине!

Немцы настойчиво рванулись к нашим траншеям. Василий бил по ним короткими очередями.

— Ловко получается,—заметил Шарутин и ушел к другому пулемету.

Бой разгорался. Немцы лезли напролом, не считаясь с потерями. Темные фигуры врагов подвигались все ближе, и как на зло у Василия отказал пулемет. Пока боец устранял задержку, немцы подошли совсем близко. Казанцев видел врагов, слышал противно лающие голоса, чуял запах водочного перегара, и им овладели два противоречивых чувства: страх перед надвигающейся смертью и желание перебить всех немцев, которые нахально идут за его душой.

— Получай, сволочи! — крикнул Василий, всей силой пальцев нажимая на спусковой рычаг, как будто от этого зависела огневая мощь пулемета.

В тот момент, когда Казанцев выпускал уже четвертую ленту, наша рота дружно поднялась и без криков, цепью пошла в атаку. Враг был смят.

После первого боя, в котором Василий Казанцев не дрогнул, вернее, сумел подавить страх, товарищи еще продолжали шутить над ним, но в душе они признавали его настоящим солдатом. Даже сержант Иван Субботин, известный своей молчаливостью и неимоверной яростью в бою, как-то подошел к молодому воину и, положив на плечо руку, сказал:

— Чтобы стать гвардейцем — надо заслужить. Из тебя, парень, толк выйдет. Закурим?

Второй бой принес первую гвардейскую славу и похвалу командира. Казанцев оборонял переправу. До батальона немцев лезли к переправе. Они обошли гвардейца с трех сторон. Эта подкова все сжималась, но Казанцев огнем своего пулемета резал ее на части. Немцы открыли огонь из минометов. Бойца забросало сырыми комьями земли. Пулемет замолк. Гитлеровцы поднялись во весь рост и кучей бросились к средине переправы. Тогда-то и резанул их Василий длинной очередью. Свыше 50 немцев остались лежать. Когда подошло подкрепление, командир роты, офицер Чалый спросил у бойцов, показывая на трупы немцев.

— Чья работа?

— Казанцева, гвардейца нашего.

Офицер подошел к Казанцеву, сидевшему около пулемета. Он схватил героя в объятья и у всех на глазах троекратно поцеловал.

— Герой! Орел! Слава! — сказал офицер дрогнувшим от волнения голосом.

Вечером Василию Казанцеву генерал вручил медаль „За отвагу".

— Хорошо воюешь, сибиряк. Славный из тебя вышел гвардеец,—похвалил генерал, вручая награду.

Друзья пожимали Василию руку, поздравляя с наградой и присвоением сержантского звания, а командир в присутствии всей роты прикрепил герою к гимнастерке нагрудный знак доблести и отваги—„Гвардия".

* * *

Тяжела и опасна фронтовая жизнь. В жарких схватках с врагом закаляется и мужает солдат. Только здесь, в огне боя, раскрывается душа человека, он делается прозрачный и чистый, как вода горного ручья. Только здесь

человек раскрывает свои благородные качества и по-настоящему любит Родину, любит жизнь. В жарких схватках с врагом, в пекле боя, когда кажется может сердце лопнуть от напряжения, гвардейцы увидели чистую, благородную русскую душу Василия Казанцева. За ним прочно закрепилась слава мастера пулеметных „ножниц“ и в подразделении, когда заходила речь о героях, все неизменно говорили:

— Я что. Вот гвардии сержант Казанцев — это герой! Хотя и ростом мал, но душа у него большая, воля богатырская.

Но сам Василий старался оставаться незаметным. Он не рассказывал о своих подвигах, считая это обыкновенным делом, солдатским долгом. Он любил молчать, и в этот раз пулеметчик был не особенно разговорчив. Марш был утомителен и труден. Подразделение без традиционных привалов шло дальше в вечерние сумерки. От непосильной тяжести пулемета подкашивались ноги, жажда сужала горло и мутила. В такой момент простое, бесхитростное повествование о доме, о детстве, о жарких боях действовало освежающе, точно бодрый холодноватый ветерок.

— Хорошо у нас в Сибири! — рассказывал вдохновенно Василий своему боевому другу Ивану Субботину.—Вот взять к примеру наше село Старо-Редькошь. В это время там цветет черемуха, поля покрыты цветами и разными травами. Вечером дует тихий верховик. В воздухе стоит такой аромат, что не надышешься. И вот таким, небольшим мальчишкой, босой бегаешь по полю, споря с ветром. Хороши места в Саргатском районе! Закончим с немчурой—поедем, друг, к нам.

Василий, наверное, еще долго бы рассказывал, потому что в разговорах быстрее бежало время, да и путь казался не таким трудным, но впереди, разрезая серую пелену предутреннего неба, оставляя за собой искристый хвост, пролетели пули.

— Приготовиться! — покатилась по рядам негромкая команда. Командиры отделений, вернувшиеся от командира взвода, стали развертывать к атаке свои подразделения.

Сорокакилометровый переход оставался позади. Приближение боя освежило и приободрило людей. Усталость как рукой сняло. Густой цепью, настороженные, молча шли гвардейцы. Вот они—окопы. Уже видны их черные полосы. С шипением взвилась ракета, осветив ярко подступы. Затрещал в истерической дрожи немецкий пулемет. Кто-то застонал.

— Вперед гвардия! За нашу Родину! — крикнул Иван Субботин.

— За Сталина! Смерть немцам! — подхватил высокий и четкий голос Василия Казанцева.

Передний край ожил. Торопливо забились пулеметы. Поднимая фонтаны земли, с металлическим до боли в ушах треском, рвались мины. Стена огня стала на пути наступающих. Но никакая сила не могла остановить яростного натиска гвардейцев. Казанцев, забрасывая гранатами траншеи врага, вместе с остальными бойцами ворвался в них. Он не слышал свиста пуль, не видел как рядом с ним, тихо вскрикнув, упал вниз лицом боец, не выпуская из посиневших от напряжения рук автомат. Василий видел впереди мечущихся немцев, и страсть дорваться до врагов, смять, раздавить их, услышать их стон, обуяла солдата. Он резанул по группе немцев, развернул свой пулемет и ливнем пуль отрезал пути отхода врагу.

Неожиданно слева ударила пушка. Снаряд со свистом врезался в бруствер и десятки осколков пронеслись над головой. Второй снаряд выбил землю под ногами нашего бойца. Тот без стона повалился навзничь.

Пушка била прямой наводкой. Пулеметчик видел как вспешке работал орудийный расчет, посылал в канал ствола снаряд за снарядом.

— А, гады! — невольно вырвалось из груди Казанцева. Он пополз в обход пушки. Немцы заметили. Один артиллерист, схватив автомат, повел по смельчаку огонь. Прижимаясь плотнее к земле, обливаясь потом, гвардеец полз вперед. Перед его глазами стояла фигура бойца, падающего на фонтан земли. Злоба душила, горло давила спазма. Он прижался всем телом к щитку пулемета, нажал на гашетку... Он видел, как двое немцев, взметнув нелепо руками, повалились. Выпустив еще очередь, Василий бросился к пушке, но к ней бежала большая группа немцев. Пулеметчик комом упал на землю и стал поливать немцев короткими очередями. Наши стрелки, очистив траншею, спешили пулеметчику на помощь.

Сбив и смяв противника, подразделение преодолело железнодорожную насыпь, ворвалось на высоту. Здесь пришлось выдержать встречный бой. До батальона пехоты немцев шло в контратаку. Казанцев подпустил гитлеровцев вплотную и стал косить их ряды. Только к вечеру, после десятка бесплодных контратак, противник отошел.

Бой закончился так же неожиданно, как и начался.

Наступила томительная, послегрозовая тишина. Казанцев осматривал пулемет и не заметил, как к нему подошел командир части.

— Как воюешь, сибиряк?

— По-гвардейски! — выпалил, не задумываясь, пулеметчик.

— Орел! Гвардеец! Генерал жалует тебя орденом Славы третьей степени.

Василий от неожиданности раскрыл удивленные глаза, ему показалось, что он ослышался. И как бы заметив растерянность пулеметчика, командир продолжал:

— Генерал награждает вас первым в части орденом Славы третьей степени и желает новых боевых успехов.

Какая-то сладкая истома защемила, сжала сердце. Надо было ответить по-солдатски на награду, но Василий не мог говорить. Большая горячая слеза, ожигая щеку, покатилась из глаз. Он отвернулся и, не смахивая слезу, упал к пулемету.

— Не тревожьте его! — сказал командир собравшимся бойцам, и, сдерживая нивесть от чего набежавшую слезу, пошел на командный пункт.

Весть о подвиге гвардейца Казанцева быстро облетела фронт. Со страниц красноармейских газет призывал лозунг: „Сражайтесь так, как сражается гвардеец Василий Казанцев!" Кто-то из бойцов на заре следующего утра прикрепил к стволу одинокой березы большой плакат: „Гвардейский привет первому кавалеру ордена Славы — герою Василию Казанцеву!"

* * *

Много славных боев провело подразделение. Много дорог исходил солдат пехоты, скромный русский паренек из Саргатского района. Не раз костлявая смерть смотрела ему в глаза. Он отгонял ее прочь силой своего оружия, своим мужеством и беззаветной храбростью. Но последний бой остался в памяти у всех нас. Он вошел в летопись истории гвардейской Ордена Ленина краснознаменной части, как яркий пример доблести русского солдата.

Противник яростно оборонялся на высотах. Десятки орудий, сотни минометов сотрясали своими залпами землю день и ночь. Василий Казанцев поддерживал огнем своего пулемета наступающих стрелков. Много раз поднимались гвардейцы в атаку и каждый раз залегали прижатые плотным огнем. Бой достиг невиданного напряжения. Поле

боя затянуло серой пеленой порохового дыма, и в мутном закате, казалось, плавал в крови большой диск бледного солнца.

— Разрешите мне действовать? — обратился к офицеру Шарутину Казанцев, и изложил свой нехитрый план.

— Действуйте, но будьте осторожны. Желаю успеха.

Василий скрылся со своим пулеметом в ближайшем кустарнике. Через несколько минут бойцы увидели, как он с пулеметчиком Шукуровым полз справа высоты, занятой врагом. С затаенным вниманием следили гвардейцы за действием смельчаков. Вот они встали, взмахнули руками. Столб земли поднялся над немецкой траншеей, донесся глухой взрыв гранат. Подразделение бросилось вперед. Но косоприцельный огонь с соседней высоты преградил им путь. Люди ползли. Раненые, перетянув раны, продолжали двигаться вперед. Ведь там два лучших пулеметчика. Там, на этой высоте, гордость и слава подразделения.

— Вперед, друзья! — кричал Иван Субботин, и люди ползли.

Как Казанцев и Шукуров ворвались в траншею немцев, осталось неразгаданной тайной. Но артиллерийские наблюдатели видели, как на высоту, где оказались двое смельчаков-пулеметчиков, немцы бросились в контратаку.

Казанцев знал, что на помощь к нему спешат. Вместе с Шукуровым он резал пулеметным огнем цепи врага. Отражая третью контратаку, замолчал пулемет. Вышли патроны. Василий схватил немецкий автомат. Герои подпускали гитлеровцев вплотную и били наверняка. Но вот вражеская пуля сразила Шукурова. Василий положил друга на дно траншеи и занес гранату, чтобы всадить ее в гущу немцев. Колючая боль прорезала плечо, граната вывалилась из рук. Гвардеец схватил ее левой рукой, она разорвалась в воздухе, оглушив передних немцев. Вторая граната разорвалась в самой куче фрицев. Новая боль в груди заставила присесть, поникнуть головой на бруствер.

Стрелки доползли до вершины высоты. Поднялись и бросились на выручкутоварища. Они видели, как Казанцев поднялся и, с высоко поднятой над головой гранатой, шатаясь, пошел на встречу врагу. Пробив пелену дыма, золотистые лучи заходящего солнца играли бликами на серебре ордена и медали.

Не успели боевые друзья. Новая вражеская пуля пробила грудь героя. Василий упал на руки подбежавшего

Ивана Субботина. В тот же миг в воздухе прогремели слова, сжавшие до боли сердца солдат.

— Убит Казанцев! Смерть немецким гадам!

Гвардейцы в ярости рвались вперед. Они смяли цепи немцев. В ход пошли русские штыки.

— За Казанцева! За Васю! — слышались возгласы.

Гвардейцы кололи, крошили немецкие черепа прикладами. В этот день враг изведал гвардейскую ярость. Пленных не было. До двухсот трупов немцев покрыли склоны высоты, и добрая половина из них погибла от огня героя Василия Казанцева.

Стояла тихая, безветренная ночь, какие часто бывают на переднем крае. Где-то в высоте ночного неба барахталась, захлебываясь, немецкая „Рама". Гвардейцы хоронили пулеметчиков Казанцева и Шукурова. Обнаженные головы склонились. На лицах, обветренных, опаленных в боях, начертана была скорбь. Речи были немногословны:

— Василий Казанцев был верным сыном русского народа. Он был герой, и умер героем. Командующий наградил этого мужественного воина орденом Славы второй степени,—говорил командир части, с трудом пересиливая волнение.—Будем же все такими, как Василий Казанцев. Поклянемся боевому другу, что отомстим врагу.

Преклонив колена, гвардейцы поклялись отомстить за героя.

* * *

Над степью величественно возвышается курган. На нем виден обелиск. Летнее солнце ласково греет землю и свежая, как юность, трава зеленым ковром покрыла все вокруг. Девичьи руки любовно украсили цветами могилу героя. Яркие буквы на обелиске повествуют о славе:

„Слава тех не умирает, кто за Отечество умрет".

Далеко сейчас от этой дорогой могилы боевые друзья Василия Казанцева. Они достойно отомстили за смерть павшего героя. Они не забыли о нем. В подразделении все напоминает о Василии Казанцеве.

Рассказывая молодым бойцам о пулемете, лучший ученик Казанцева, кавалер ордена Красного знамени Дмитрий Банников, указывая на щиток, где прикреплена металлическая пластинка с яркой надписью: „Пулемет героя-пулеметчика Василия Казанцева"—говорит:

— Это не простой пулемет. Он верно служил нашему Василию Казанцеву.

Об опыте и героических подвигах Казанцева рассказывают бойцам агитаторы. Агитатор гвардии капитан Агафонов читает лекции: „Боевые подвиги сержанта Василия Казанцева". Имя Казанцева живет. Оно стало символом славы и гвардейской доблести. Боевой опыт Казанцева изучают бойцы. И в бою, в трудную минуту, имя героя зовет на подвиг.

Это и есть солдатская слава!

И. ОГРЫЗКО

НАРОДЫ СЕВЕРА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ[1]

Ленинско-сталинская национальная политика возродила к новой жизни некогда бесправные, экономически и культурно отсталые народы Крайнего Севера. Советское государство не только провозгласило принцип равноправия народов, но оказало также им реальную помощь в их стремлении к экономическому, политическому и культурному развитию. На окраинах страны стала развиваться промышленность, возникли национальные республики и округа, расцветает культура — национальная по форме и социалистическая по содержанию. Народы нашей многонациональной державы живут единой семьей. Вполне естественно поэтому, что и народы Севера отнеслись к Великой Отечественной войне советского народа с германскими захватчиками, как к вопросу своей собственной жизни или смерти.

* * *

В один из первых дней Отечественной войны из далекой тундры в Салехардский райвоенкомат пришел ненец. Он подал военкому заявление, в котором было написано:

---

[1] В собирании материалов для данной статьи принимали участие студентки Омского пединститута Семененко, Терентьева, Усольцева и Шевцова.

„Военному начальнику. Просьба большая! Посылай меня драться с крестогрудой зубастой собакой. Я белке в глаз попадаю. Крестогрудой наглой собаке в сердце стрелять буду. Нашу землю защищать буду".

Ханты Евгений Маремьянин из юрт Лохтоткурт Шеркальского сельсовета Ханты-Мансийского национального округа ушел добровольцем в Военно-морской флот. Бывалый рыбак, выросший на берегах многоводной Оби, он полюбил морскую стихию и стал прекрасным военным моряком, отличником боевой и политической подготовки в Краснознаменном Балтийском флоте. Выросший в сибирской тайге ханты Маремьянин в боях с фашистскими варварами героически защищал город Ленина, где он до войны учился в Институте народов Севера.

Представитель одной из самых малых народностей Севера — эвенк (ламут) с Охотского побережья Григорий Черканов просил принять его в Красную Армию. Но состояние здоровья у Черканова было таким, что его даже сняли с военного учета. Однако он не успокоился и после долгих хлопот добился зачисления в военно-политическое училище. Сейчас младший политрук Черканов на фронте. Он участвовал в разгроме одного из полков „СС" у станции Дно Ленинградской области и в этом бою был ранен. Лежа в госпитале, Черканов с воодушевлением рассказывал, как его подразделение весь день расстреливало вражеские автомашины и мотоциклы на шоссейной дороге и как потом вороны клевали немецкую падаль на русской земле.

* * *

В жизни народов Севера большую роль играет охота. Чтобы не испортить беличью шкурку, охотник старается пулькой из мелкокалиберной винтовки попасть белке в глаз. Это стало уже делом охотничьей чести и престижа. На фронте такой охотник быстро становится превосходным снайпером.

Охотничий промысел, особенно в условиях Крайнего Севера, вырабатывает в человеке изумительную способность ориентироваться в незнакомой местности, уменье преодолевать естественные преграды, незаметно подкрадываться к чуткой таежной дичи или, замаскировавшись, поджидать ее, сохранять спокойствие и хладнокровие при любых обстоятельствах и стойко переносить всякие лишения. Все эти качества необходимы для бойца-разведчика.

И на фронте северные охотники — прекрасные разведчики.

Длинная северная зима, глубокие снега и необходимость в поисках за зверем проделывать в один день многие десятки километров, сделали лыжи неотъемлемой принадлежностью жителя Крайнего Севера. На фронте северяне — искусные и неутомимые лыжники.

Народы Севера прославили себя на фронтах Отечественной войны, как отличные снайперы, разведчики и лыжники.

В 1942 году по всему Волховскому фронту шла слава о снайпере Киманко. Это был охотник из сибирской тайги — удэ по национальности. Для противника он был невидимым и вездесущим. Стоило немецкой голове на одну секунду показаться из блиндажа, как одним фашистом становилось меньше.

Своим ученикам, молодым снайперам, Киманко говорил, что так метко стрелять совсем не трудно: ведь немецкий зверь гораздо крупнее и менее подвижен, чем белка. Во фронтовой газете был помещен портрет этого замечательного мастера меткой стрельбы. В этой же газете можно найти портреты других опытных снайперов с Крайнего Севера, обучивших своему искусству десятки молодых бойцов.

В мае 1944 года в „Комсомольской правде“ сообщалось о замечательном разведчике и снайпере нанайце Александре Пассаре. Разведчик, старший сержант Александр Пассар, вместе с бойцами своего отделения добыл 25 „языков“ и истребил около 100 гитлеровцев. Правительство наградило его орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью „За отвагу“ и значком „Отличный разведчик“.

Осенью 1941 года, когда немцы приближались к Ленинграду, в пригородном Павловском дворце, где разместился госпиталь, лежал раненый саам (лопарь) Георгий Дмитриев. Северная природа закалила его и сделала превосходным лыжником. Он был альпинистом и перед войной участвовал в восхождении на пик Сталина. Из 40 альпинистов достигли тогда вершины только двое, в том числе и Георгий Дмитриев. В армии Дмитриев стал инструктором по лыжам. В боях под Лугой он был ранен и попал в окружение. Однако Дмитриев не сдался. Перевязав переломанную руку, превозмогая боль и многодневный голод, он вышел из окружения и, лежа в госпитале, с нетерпением ждал того времени, когда можно будет вернуться в строй и снова разить врага.

Приведенные здесь факты наглядно характеризуют, как проявляются специфические особенности народов Севера

на фронтах Отечественной войны. В рядах превосходных снайперов, разведчиков и лыжников-северян немало хантов, манси и ненцев.

В начале 1943 года в Салехарде было получено фронтовое письмо. Автор его—лейтенант Павлов рассказывал ненцам об их земляке пулеметчике Тэсседе. Приводим отрывок из этого письма:

„... Тэсседа! Эта фамилия часто с большим уважением произносится бойцами и командирами нашей части. Кто он такой? Это ненец из далекой Гыды—воспитанник Омской комсомольской организации. Тэсседа — бесстрашный пулеметчик. Недавно на нем сменили третью шинель, потому что она была изрешечена пулями немцев. Каска его тоже испещрена царапинами от пуль.

Как-то после одного из боев я встретил его и спросил о боевых делах.

—Тэсседа есть Тэсседа—ответил он.—Ломал ребра немцам и буду ломать!

Теперь он стал членом партии и командиром пулеметного взвода. Дзоты его расположены на опушке леса. В 400-х метрах от них — немецкая оборона. Вместе с Тэсседа живет его друг — снайпер Труочу из солнечного Крыма. Они часто, забрав снайперские винтовки, выползают на холмики и выжидают добычу. На боевом счету у каждого из них количество убитых гитлеровцев перевалило за вторую сотню".

Познакомимся с письмом студентки Ханты-Мансийского педучилища Анны Петрушкиной. В нем рассказывается о подвиге ханты Андрея Петрушкина.

„...Сейчас уже точно узнали, что Андрей убит. Пришли все его документы и фото, которые были с ним. Все залито кровью, нашей родной кровью.

Товарищи Андрея написали нам, как он погиб. Андрей сопровождал санитарные машины с ранеными. В пути их обстреляли немецкие самолеты. Андрей начал спасать раненых. Он вынес на себе из горящих машин 100 раненых бойцов и командиров. Самого его тоже ранило. Очень тяжелые были у него раны, и он умер на первом медпункте".

Андрей Петрушкин посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Как много говорит этот маленький отрывок из письма. Здесь и одичавшие варвары-людоеды XX века, нападающие с воздуха на раненых людей; здесь и благородное самопожертвование молодого ханты ради спасения своих русских

братьев и потрясающей силы дружба наших народов, дружба, скрепленная кровью и общим великим делом.

Приведем еще один факт братской взаимопомощи и боевого содружества народов Севера с русским народом.

События происходили на северном участке Карельского фронта зимой 1941-1942 года. Стояли непроглядные полярные ночи. Пурга заносила землянки снегом так, что их с трудом откапывали. Десятки километров отделяли фронт от баз снабжения. В таких условиях вопросом жизни и боевых успехов стал транспорт,—подвоз продовольствия и боеприпасов, эвакуация раненых и т. п.

Все обычные виды транспорта здесь не были пригодны. Машина не могла бы пройти и нескольких метров, лошадь пала бы на первом десятке километров, человек выбился бы из сил в течение часа. Тогда возникла мысль: использовать олений транспорт, управляемый ненцами, саамами и коми. Олень идет по любому снегу и делает до 20 километров в час.

Оленеводческим колхозам полуострова был брошен призыв — помочь фронту оленьим транспортом. И молчаливая тундра откликнулась. Согнав все колхозные стада, старики опытным взглядом, по одним им известным признакам, отыскивали в море ветвистых голов самых надежных и крепких ездовых оленей.

Через несколько дней к условленному месту—к широкому ледяному озеру, легко скользя по снегу, мчались со всех сторон оленьи упряжки. Погонщиками их были ненцы и саамы в коротких с откинутыми назад капюшонами дохах, в малицах и меховых сапогах.

Первые оленьи поезда двинулись к фронту, везя продовольствие и боеприпасы. Оттуда они доставляли в госпитали раненых.

Ненец Алексей Ледков перевез свыше ста раненых бойцов и командиров. Он заботливо укутывал и укладывал своих пассажиров в нарты, как в люльку. Опытная рука погонщика сдерживала оленей на поворотах и косогорах, чтобы не потревожить, не встряхнуть раненых. Время от времени он подходил к своим ездокам и заботливо спрашивал, тепло ли им, удобно ли лежать, предлагал пищу или флягу с водой.

Не раз оленьи поезда подвергались воздушным налетам немцев.

Саам Иван Матрехин вез боеприпасы к фронту. Когда он проезжал по огромному озеру, на него неожиданно напал „Мессершмидт". Снаряды деть было некуда. Немец-

кий летчик летел вдоль оленьего каравана и поливал нарты пулеметным огнем. Иван Матрехин никогда не видел так близко самолета, его никогда не обстреливали из пулеметов. Но он не убежал. Он сел в снег рядом с оленями и стал ждать. Четыре раза проходил самолет вдоль упряжек, посылая очереди пуль. И наконец, истратив все патроны, немец улетел. Матрехин встал, выпряг и привязал раненых оленей позади упряжек, взвалил убитых животных на нарты и помчался дальше.

Таким же налетам подвергались и товарищи Матрехина — Коивин, Данилов, Мелентьев, Захаров, Ледков, Юрьев.

В течение всей зимы курсировали оленьи упряжки на передовые позиции и обратно в тыл. Они не только кормили фронтовиков, снабжали их боеприпасами и спасали раненых. Они также отыскивали сбросившихся на парашютах и заблудившихся советских летчиков, подвозили запасные части сделавшим вынужденную посадку самолетам и т. п.

Однажды ночью в лагерь пришло сообщение, что в 40 километрах, у самой линии фронта, на озере, сделал вынужденную посадку наш истребитель. Без замены одной детали самолет не мог подняться в воздух. Немецкий разведывательный самолет вечером кружился над нашим истребителем, и на рассвете следовало ожидать появления фашистских бомбардировщиков. Нужно было, не теряя ни минуты, тут же ночью отправиться на оленях к месту посадки нашего самолета и доставить туда необходимую запасную часть.

Два саама—комсомольцы Афанасий и Алексей Захаровы взялись выполнить это задание. И к рассвету необходимая запасная часть была доставлена экипажу. Советский истребитель поднялся в воздух, а через несколько минут над опустевшим озером уже кружилась шестерка немецких бомбардировщиков.

В свободные от поездок часы погонщики обучались стрельбе из винтовок, чтобы, при случае, посылать немецким летчикам ответные пули.

Немало северян награждено орденами и медалями Советского Союза.

Ненцы гордятся своим сыном — Федором Павловичем Хатанзейским, фронтовые подвиги которого отмечены орденом Красного Знамени и медалью „За оборону Ленинграда".

Ненец Александр Иванович Янзинов, получив в бою

ранение, остался в строю и продолжал драться с фашистами. Он награжден медалью „За отвагу".

К началу 1944 года боевыми орденами и медалями Советского Союза награждены 29 ханты, 89 нанайцев, 258 якутов.

Боевые подвиги на фронтах Отечественной войны — красноречивый ответ народов Севера на ленинско-сталинскую национальную политику, возродившую их к новой жизни.

* * *

Основным занятием народов Севера искони было рыболовство и охота, а в зоне тундры — и оленеводство. В трудную военную пору северяне дали стране и фронту сверх плана мощный поток своей продукции—рыбы, оленины, драгоценных сибирских мехов.

Самоотверженно, не покладая рук, не жалея сил, как наказал тов. Сталин, трудятся рыбаки, охотники и оленеводы Севера.

Ханты колхоза „17 лет Октября" Кондинского района Ханты-Мансийского национального округа Иван Николаевич Спасенников в 1942 году добыл 2100 пудов рыбы, выполнив тринадцать годовых норм. Из такого количества рыбы можно изготовить 50 тысяч банок консервов.

Лучший колхозник колхоза имени Ворошилова Тазовского района Ямало-Ненецкого национального округа ненец Ядне Кати весной 1942 года выполнял по двенадцать дневных норм. Ненец-рыбак из колхоза имени Кирова того же района Ядне Атоне—по девятнадцать дневных норм.

В колхозе имени Молотова Микояновского района Ханты-Мансийского национального округа рыболовецкую бригаду организовали старики. Самому молодому из них—Ивану Афанасьевичу Каксину—75 лет. Бригадир этой бригады, 76-летний Ксенофонт Максимович Тарлин заявил: „Мой сын ушел в Красную Армию. Пусть он нещадно уничтожает фашистских разбойников. Мы, оставшиеся в тылу, стар и млад будем давать больше рыбы государству, чтобы Красная Армия и люди, работающие для фронта, получали больше продовольствия". Бригада Тарлина в первом же квартале выполнила план на 500 процентов.

Указом от 26 августа 1943 года правительство наградило лучших рыбаков Севера. Среди них ханты Яков Иванович Соромин — бригадир из колхоза имени Молотова Ларьякского района Ханты-Мансийского округа, ханты

Галактион Васильевич Покачев — председатель колхоза „1 мая" Сургутского района Ханты-Мансийского округа, ненец Тимофей Иванович Енов — бригадир колхоза „Коминтерн" Пуровского района Ямало-Ненецкого округа. Все трое удостоены медалей „За трудовую доблесть". „Знаком почета" награждены: ханты Василий Семенович Пуябри — председатель колхоза имени Ворошилова Приуральского района Ямало-Ненецкого округа, ненец Тер Нако — председатель колхоза „Едай-Ил" Пуровского района Ямало-Ненецкого округа и др. Всего по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому национальным округам награждено 25 лучших рыбаков.

Осенью, когда реки покрываются льдом, а пушной зверь в лесу одевается в зимние пушистые меха, северный рыбак превращается в охотника и идет в тайгу.

Ханты Н. Ерныхов и Т. Тарлин из юрт Амня Микояновского района Ханты-Мансийского округа план добычи пушнины в IV квартале 1942 года выполнили на 163 процента каждый.

Ненец-охотник из колхоза имени Сталина Надымского района Ямало-Ненецкого округа Ядне Нидейко в начале 1943 года дал обещание к 25-й годовщине Красной Армии выполнить квартальный план добычи пушнины. Свое слово он сдержал и выполнил к этому сроку план, притом не на 100, а на 162 процента. Охотник колхоза имени Ленина того же района — Ядне Хансата квартальный план выполнил на 183,5 процента. Лучшие охотники — ненцы Ямальского района Ямало-Ненецкого округа дали еще более высокие показатели. Так Худи Тамбю (колхоз имени Ворошилова) в IV квартале 1942 года выполнил 720 процентов нормы, добыв пушнины на 7 200 рублей.

Отметим и лучших оленеводов. С самого начала Отечественной войны первое место среди оленеводов Союза занял Ныдинский оленесовхоз Ямало-Ненецкого национального округа.

В 1943 г. Наркомзем РСФСР премировал деньгами ненцев пастухов — Антона Вануйто, Харючи Пале, Нядынги Нирчи, Кузьму Анагуричи и др.

В современной ненецкой пастушеской песне поется:

Пусть по тундре сегодня мой голос плывет;
Будьте зорче, людского добра сторожа!
Чтоб к любимым стадам в этот тягостный год
Не подкрались голодные звери, дрожа;
И чтоб было в моей полнокровной стране
Много вкусного мяса и теплых мехов;

Чтобы братья-бойцы отвечали втройне
Смертоносным огнем на удары врагов!
...Я оленей от волчьих клыков стерегу,
Крепко тундру обняв напряжением глаз,
Ни за что, ни за что не удастся врагу
Победить в этом грозном сражении нас!

Знакомясь с примерами высокой производительности труда рыбаков, охотников и оленеводов Севера, мы должны помнить, что самая работоспособная часть населения Севера ушла на фронт и почти вся тяжесть работы в тылу легла на плечи женщин, стариков и молодежи.

* * *

„Женщины в колхозах — большая сила" (Сталин). В дни войны эта большая сила в колхозе превратилась в главную и основную силу.

В колхозах Самаровского района Ханты-Мансийского округа в 1942 году было 1 100 рыбаков, из них 715 женщин. В Березовском районе в том же 1942 году женщины-рыбаки составляли 70 процентов, а новички вообще—90 процентов.

Несмотря на это, каждый из этих районов дал в 1942 году на 100 тыс. пудов рыбы больше, чем в 1941 году, т. е. почти удвоил добычу. На Крайнем Севере происходило то, что происходило по всей стране: жены и сестры заменили в тылу своих мужей и братьев.

Ханты из юрт Лохтоткурт Микояновского района Ханты-Мансийского округа Анна Андреевна Ангашунова в течение 1942 года выловила рыбы в 5 раз больше, чем ей было положено по плану. Она дала стране 552 пуда рыбы. Кандидат в члены ВКП(б) ханты Таисия Степановна Раишева работает бригадиром в колхозе имени Кирова Самаровского района. В 1943 году ее бригада первой в районе — к 15 августа выполнила годовой план лова. Сама Раишева добыла 500 пудов рыбы.

Труднее женщинам Севера было освоить охотничий промысел, которым до войны занимались почти исключительно мужчины. Но страна нуждалась в пушнине, и женщина пошла в тайгу так же, как она шла к станку, на транспорт и на рыбный промысел. Ненка Сэратето Вотане из колхоза имени Ворошилова Ямальского округа осенью 1942 года впервые вышла на охоту. И уже в IV квартале этого же года выполнила план на 347 процентов.

Не отстают от женщин и подростки.

Нечу Ису — ненец. Ему всего 15 лет. Он член ленинско-сталинского комсомола. Нечу весной 1943 года отлично закончил начальную школу в поселке у озера Пыжьян (Самаровского района) и пришел для продолжения обучения в Ханты-Мансийск. Здесь он узнал, что занятия начнутся только через месяц. Нечу не хотел оставаться без дела. Он взял еще трех товарищей и поехал с ними в колхоз на ловлю рыбы. В течение первых 20 дней его небольшое звено выловило 480 пудов рыбы.

Комсомольцы национальных округов показали себя прекрасными организаторами рыбодобычи и вполне заменили опытных рыбаков, призванных в Красную Армию. В 1942 году Надымский райком комсомола Ямало-Ненецкого округа направил на путину 175 комсомольцев. Комсомольские звенья показали замечательные образцы труда. Звено Лапсуй Пудако выполнило июньский план на 531,4 процента, звено Малика Назырни—на 375 процентов, звено Марии Ненянг — на 180 процентов и т. д.

В самую горячую пору, во время путины на рыбный промысел выходят и дети, в первую очередь пионеры-школьники. В колхозе имени Сталина Тазовского района пионерское рыболовецкое звено состоит из 4 человек — Пети, Оли, Малли и Нины Салиндер. Юные патриоты соревнуются со взрослыми. Они сдали в фонд обороны 1 000 килограммов рыбы.

Школьники Охтеурской школы Ханты Мансийского национального округа в течение 10 дней в свободные от уроков часы собрали 500 килограммов кедровых орехов, 100 килограммов брусники, 200 килограммов клюквы, 11 килограммов шиповника, 20 килограммов рябины. Половину полученных за работу денег они внесли в фонд обороны.

* * *

Усилия этих отдельных колхозников-патриотов, сливаясь в общий поток трудового героизма на Крайнем Севере, привели к замечательным материальным результатам. Сотни пудов добавочно выловленной отдельными колхозниками рыбы превращаются уже в тысячи пудов в масштабе колхоза и в десятки тысяч в масштабе района.

В 1943 году колхоз имени Сталина Надымского района, во II квартале 1943 года дал стране и фронту сверх плана 4734 пуда рыбы. Наркомат рыбной промышленности при-

знал колхоз имени Сталина победителем в соревновании и присудил ему первую Всесоюзную премию. Колхозы „Красный Надым" и „Родина" того же района в течение первых трех кварталов 1943 года выловили каждый на 5 тысяч с лишним пудов рыбы больше, чем за этот же период 1942 года. А колхозы всего Ямало-Ненецкого округа в течение двух с половиной военных лет почти утроили добычу рыбы. Вместе с гословом колхозы округа в 1943 году дали стране на 114836 центнера, т. е. на 700 тысяч пудов рыбы больше, чем в последний предвоенный 1940 год.

Колхозы Ханты-Мансийского округа в 1943 году увеличили добычу рыбы в два с половиною раза по сравнению с довоенным 1940 годом. Весь округ дал стране в 1943 году на 195962 центнера, т. е. на 1 миллион 100 тысяч пудов рыбы больше, чем в последний предвоенный 1940 год. Всего в течение трех военных лет эти два округа дали стране добавочно 476902 центнера, т. е. около 3 миллионов пудов рыбы. Эти 3 миллиона пудов рыбы заменили, примерно, 400 тысяч голов крупного рогатого скота. Легко понять значение этой цифры в дни Отечественной войны для нашей страны, так нуждающейся в быстром увеличении продовольственных ресурсов.

В чем же главная причина таких больших производственных успехов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов?

Основная причина производственных успехов — в людях, в их высоком патриотизме, выразившемся в героическом труде.

Народы Севера совершили трудовой подвиг в тылу, равный подвигу их сынов на фронте Великой Отечественной войны.

Патриотические подвиги малых народностей Севера в Великой Отечественной войне являются лучшим доказательством братского единения народов многонациональной советской державы.

„Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и испытания войны и еще более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков" (Сталин).

Б. БУХШТАБ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ О НЕМЦАХ

I

Столкнувшись с немцем лицом к лицу в дни, когда и человек и народ раскрываются сполна, советские люди почувствовали не только глубокое омерзение, но и удивление. Мы считали немцев народом высокой культуры, больших творческих сил, народом с значительными заслугами в дорогих человечеству областях науки, искусства, философии. Как же совместить эти силы и заслуги с тем лицом немца, которое мы увидели? С этим пошлым фанфаронством, с этой дурацкой самовлюбленностью, с этим скотским бездушием, с этим аккуратным, методическим зверством? И невольно у многих возникает чувство недоумения: могли ли немцы так перемениться за недолгий срок фашистского владычества в Германии? Хочется знать, каковы были немцы раньше—у себя и у нас, в своем отношении к другим народам и к русскому в частности.

Естественно обращаешься к сокровищнице нашей национальной мысли и опыта — к нашей мудрой и правдивой литературе. Как воспринимали и изображали немцев русские писатели? Что думали о них, чего от них ждали и опасались?

Русские писатели о немцах — это большая тема. Но едва ли не интереснейший ее отрезок для нас: революционные просветители о немцах. Во-первых, в досоветской литературе нет писателей, которые были бы так близки к нашему миропониманию, как революционные просветители: Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин. А во-вторых (и это связано с первым), мы ни от кого в прошлом нашей ли-

тературы не можем ждать такого глубокого и справедливого подхода именно к данной теме, как от революционных просветителей, революционных демократов.

Революционные просветители далеко не были свободны от утопизма, от идеалистических иллюзий. В своих взглядах на историю и общество они исходили из „общечеловеческих" моральных идеалов, недооценивали роль классовой борьбы и придавали слишком большую роль в истории идеям, сознанию, просвещению. Но они были последовательными борцами со всяким насилием, произволом и угнетением, — с царской деспотией, с крепостным правом и всеми его пережитками, с новым закабалением народа кулаком и капиталистом. Они жили для блага своего народа. Идеал, который им более или менее отчетливо виделся, был идеалом социалистическим, и путь к нему в основном — хоть и не всегда последовательно — мыслился как путь революционный.

На отношения между русским народом и другими народами революционные демократы смотрели с такой точки зрения, которая гарантировала наиболее вдумчивое и справедливое решение всех „инородческих" и международных проблем.

Горячая любовь к своей родине и своему народу определяли жизненный путь и историю деятельности революционного просветителя. Каждый из них мог сказать о себе словами Герцена: „Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему и желание деятельно участвовать в его судьбах". Или словами Добролюбова: „Наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого мы хотим трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо". „Любовь к благу родины,—говорит Чернышевский о Белинском,— была единственной страстью, которая руководила им".

И в этой любви Чернышевский усматривал главное достоинство Белинского и вообще высший критерий ценности любого русского деятеля: „Историческое значение каждого русского великого человека, — писал он, — измеряется его заслугами перед родиной, его человеческое достоинство — силою его патриотизма".

Но патриотизм революционных просветителей не имел ничего общего ни с казенным шовинизмом русских монархистов, ни со звериным национализмом немецких предшественников фашизма.

Много гневных и саркастических выпадов против шо-

винизма найдем мы в произведениях русских просветителей. Революционные демократы бичуют барски-помещичий дух казенных русских шовинистов, их своекорыстное стремление скрыть и замазать все беды и безобразия тогдашней русской жизни. Революционные демократы с презрением отвергают шовинистический дух огульного осуждения всей западной культуры, за которым крылось желание оставить русский народ отсталым и невежественным.

Разграничивая подлинный патриотизм и псевдо-патриотизм, Добролюбов писал:

„В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит ни от чего другого, как от желания делать добро...

Псевдо-патриотизм... часто граничит с человеконенавидением... и является в недорослях... старающихся хоть как-нибудь и куда-нибудь пристроиться, чтобы носить, по возможности, почетное звание и тунеядствовать".

И далее Добролюбов рисует нам образ псевдо-патриота, очень напоминающий современных властителей Германии: „На деле, разумеется, не бывает у этих господ и следов патриотизма, так неутомимо возвещаемого ими на словах. Они готовы эксплоатировать, сколько возможно, своего соотечественника не меньше, если еще не больше, чем иностранца, готовы так же легко обмануть его, погубить ради своих личных видов, готовы сделать всякую гадость, вредную обществу, вредную, пожалуй, целой стране, но выгодную для них лично... Если им достанется возможность показать свою власть хоть на маленьком клочке земли в своем отечестве, они на этом клочке будут распоряжаться, как в завоеванной земле... А о славе и величии отечества все-таки будут кричать... И оттого они — псевдо-патриоты!"

Салтыков-Щедрин в своих произведениях вывел целую галлерею подобных псевдо-патриотов — чиновников, помещиков, кулаков, откупщиков, у которых за громкими словами о любви к родине стоит лишь пристрастие к „пирогу". „Отечество-пирог — вот идеал, дальше которого не идут эти незрелые, но нахальные умы".

Щедрин всегда подчеркивал нравственную высоту патриотической идеи. „По моему мнению, — писал он, — и в торжественные годины и в будни идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право называть себя гражданином". „Идея отечества одинаково для всех плодотворна. Честным она внушает мысль о подвиге".

Именно по поводу первых шагов немецкой агрессии Щедрин поставил вопрос „об отношении проходимства и жульничества к патриотизму". „Могут ли, — спрашивает он, — именоваться патриотами проходимцы вроде... гуляющих немцев, охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могут ли именоваться патриотами другие паразиты, хотя бы и высшей школы?"

И отвечает:

„Нельзя быть паразитом и патриотом, ни в одно и то же время, ни по очереди, то-есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем".

Нравственную высоту патриотической идее, по взгляду просветителей, придает связь с гуманистическими стремлениями, с общечеловеческими идеалами.

„Любить свою родину, — говорит Белинский, — значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае, патриотизм будет китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразием и уродством".

Говоря о „живом, деятельном патриотизме", Добролюбов указывает:

„Человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен... Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям".

Ту же идею прекрасно формулирует Щедрин: „Идея, согревающая патриотизм, — говорит он, — это идея общего блага... Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве".

„Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого?" — записывает молодой Чернышевский в своем дневнике.

„Слава отечества" и „благо человечества" нераздельны для революционных демократов. Их патриотизм был патриотизм глубоко демократический, безбоязненно критический, проникнутый духом гуманизма, связанный с идеалом свободы, равенства, братства и обеспеченности всех людей и всех народов.

Взгляд революционного просветителя на отношения наций гармонически сочетал широкий интернационализм, готовность в человеке любой национальности увидеть брата, каждому отдать справедливость и строже всего отнестись к собственному народу — с горячим стремлением к благу с в о е г о народа, с напряженной чуткостью в отношении всего, что угрожает его свободе и счастью, его настоящему и будущему.

Что же писали эти вдумчивые и беспристрастные патриоты о немцах?

2

Критика действительности во имя твердо осознанных идеалов лежала в основе всей литературной деятельности революционных просветителей. Недаром главными литературными жанрами, в которых они работали, были критика, публицистика, сатира. Едкая ирония и гневный сарказм характерны для стиля любого революционного просветителя. В окружающей их действительности гнев их направлялся, прежде всего, против деспотизма русской монархии, против закабаления и эксплоатации русского народа его врагами. Бичевался прежде всего царский чиновник, помещик, кулак, капиталист. Их образы с гениальной творческой силой воспроизведены в сатирах Некрасова и Щедрина.

В ряду угнетателей показаны и немцы. Классическая русская литература — не только революционно-демократическая, но и вообще передовая — создала образы немца-бюрократа, немца — помещичьего управляющего, немца, стремящегося овладеть богатствами нашей страны. И характерно, что бюрократ-немец обычно появляется на сцену там, где писатель хочет представить предельное бездушие бюрократии, немец-управляющий там, где показывается особенная жестокость помещичьих клевретов, немец-кулак там, где изображается особенно свирепая настойчивость в эксплоатации народа.

„У нас есть своя и притом большая Германия,—писал Герцен в 1859 году... Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезеллями, аптекарями, немцами п р и д е т я х, она быстро всползает по отлогой для нее лестнице—до немцев п р и Р о с с и и...

Все они, от юнейшего немца-подмастерья, до старейшего дедушки из снеговержцев Олимпа, от рабочей сапожника, где ученик заколачивает смиренно гвоздь в подошву, до

экзерциргауза, где немец, корпусный командир, заколачивает в гроб солдата,—все они имеют одинаковые зоологические признаки, так что в немце-сапожнике бездна генеральского и в немце-генерале пропасть сапожнического; во всех них есть что-то ремесленническое, чрезвычайно аккуратное, цеховое, педантское, все они любят стяжание, хотят достигнуть денег... скупостью и усердием; это дает им их черствый, холодный, осторожный и бесстрастный характер.

...Сверх этих общих признаков, все правительствующие немцы относятся одинаковым образом к России, с полным презрением и таковым же непониманием... Самый полный тип их, это конюх-регент, герцог на содержании, Эрнест-Иоганн Бирон.

В мою молодость в Москве я имел случай изучить по крайней мере человек пять Бироновъ, только они не были на содержании, а жили на свой счет. Отец мой охотно отдавал дворовых мальчиков к немцам в науку. Все хозяева были неумолимые, систематические злодеи и притом какие-то беззлобные, что еще больше делало невыносимым их тиранство. Я помню очень живо щеточника в Леонтьевском переулке, белобрысого немца с испорченными зубами, лет 35, чисто одевавшегося, говорившего тихо и скромно державшего себя вне мастерской. Дома при нем постоянно лежал ремень, и он, как американский плантатор или как пьяный кучер, стегал то и дело — то того, то другого мальчика и стегал два раза, если тот отвечал. Я даже не думаю, чтобы этот человек был особенно свиреп... „Es ist ein Vieh, man muss der Bestie den Russen herausschlagen“[1] — думал он с спокойной совестью.

...Немцы хотят захватить Россию рыцарями остзейских губерний, Гольштейн-Готорпской фамилией (т. е. династией Романовых — *Б. Б.*), тучами генералов, дипломатов, шпионов и других сановников немецкого происхождения.

...Они любят правительство, правительство их любит, да и как не любить людей, которых отечество в канцелярии и казарме.

...В немецких офицерах и чиновниках правительство русское находит именно то, что ему нужно... полное равнодушие к участи управляемых, глубочайшее презрение к народу, полное незнание национального характера“.

Образы немцев-чиновников и военных на русской службе зарисованы в ряде произведений Щедрина.

---

[1] „Это скотина, надо выколотить из бестии русский дух“.

Вот городничий Густав Карлович Файер — жестокий взяточник, вымогатель и провокатор, любимец губернского начальства, так как он „все исполнял в точности: иди, говорят, в грязь, — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песка веревку совьет, да ею же кого следует и удавит.

Снаружи-то он будто и не злобствует, да и внутри, может, нет у него на тебя негодования, однако хуже этого человека на всем свете не сыщешь: весь как есть злющий".

Но этот палач русских людей сентиментально нежен с немкой-любовницей: „Каролинхен, да Каролинхен", и все это ей ручки целует и головку гладит. Или возьмет начнет немецкие песни петь — оба и плачут сидят" („Губернские очерки").

Вот высокий петербургский чиновник действительный статский советник Зильберггрош. В противоположность своему предшественнику генерал-майору Отчаянному, который „колебал департаментские стены криками", „этот не кричал, а каждым словом, каждым движением язвил. Говорил — шипел, глядел — обливал презрением. Процедит сквозь зубы слово и взглянет: а хочешь я тебя сейчас ногтем раздавлю?" („Больное место").

Вот другой представитель высшей столичной бюрократии — барон Швахкопф. Душитель русского общественного сознания, он не имеет в голове никаких мыслей, кроме одной: „Мой мизль — нет мизль". „Моя мысль — нет мысли!" Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтобы придти к такому отчаянному афоризму!" — восклицает Щедрин („Признаки времени").

Вот министр граф фон Юнгфершафт, мыслящий о России так: „Сей страна от природы таков, что в нем без грабежа существовать не есть возможно" („Господа ташкентцы").

Вот генерал фон Керль, славный не походами против врагов России, но „переходом через Валдайские горы" для усмирения русских крестьян („Дневник провинциала в Петербурге").

Вот другой „усмиритель" — губернатор барон Эспенштейн. На „усмирении" он так увлекся, что высек сельского священника, а затем, испугавшись ответственности, бросился к архиерею и „в одночасье" окрестился в православие. Явившийся к архиерею с жалобой высеченный священник был прогнан с негодованием: „Тебя провидение орудием такого дела избрало, а ты, говорит, еще жало-

ваться смеешь!" Барон же так вошел во вкус новой веры, что стал требовать от всех подчиненных, „чтоб чиновники каждый день к ранней обедне ходили, а по субботам и ко всенощной. И ходили-с, потому что он все приходы, где кто жил, переписал и всем церковным причтам о распоряжении своем сообщил для наблюдения" („Сон в летнюю ночь").

Таков „немецкий уголок" щедринской галлереи помпадуров.

Мельком, эскизно зарисованы русско-немецкие „тузы" у Некрасова. Все же схвачены основные черты: самодовольство, нелепое высокомерие, презрение к русскому народу и инициатива в жестокостях против него.

Вот барон фон дер Грабен, утверждающий о русском народе:

...этому народу
Пути к развитью заградил сам бог.
(*„Медвежья охота"*).

Вот —

Некто, слывший по службе за гения,
Генерал Фердинанд фон дер Шпехт,
Об отводе лесов для сечения
Подававший обширный проект.
(*„Недавнее время"*).

Или вот „на собственном величии помешавшийся"

Остзейский туз—барон фон Клоппенгорст.
Он вынуждал к невольному решпекту —
Торжественность в осанке и в лице;
Пусти нагим по Невскому проспекту —
Покажется он — в тоге и в венце.
...Молчит ли он — особая манера
Молчать... глядит — победоносный взор!
Идет ли он — незыблемая вера,
Что долг других давать ему простор.

При крепостном праве многие помещики поручали свои имения немцам-управляющим, доверяя их деловитости и агрономическим познаниям. Эти немцы обычно были особенно свирепыми мучителями русских крестьян, так как, помимо стремления угодить помещикам и обогатить самих себя, они, подобно описанным Герценом ремесленникам, не считали русских людей за людей.

„Иной управляющий из немцев, — пишет Белинский в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года", — со слезами восторга на глазах читает своей Минхен какое-

либо восторженное послание Шиллера к Лауре и, кончивши последний стих, с неменьшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсем довольны отеческими попечениями управляющего об их благосостоянии, от которых только один он жиреет, а они все худеют".

Еще в первой книге Щедрина — „Губернские очерки" — мы встречаемся с фигурой немца-управляющего Федора Карлыча, который „сечет всех поголовно, да и вся недолга! „на то, говорит, и сиденье у тебя, чтоб его стегать"... А ведь мизерный-то какой! Привели к нему мужика чуть не в сажень ростом; так он достать-то его не может, так даже подпрыгивает от злости... „Нагибайся!" — кричит".

О том, до какого отчаяния мог довести русских крестьян немецкий управляющий, оставил незабываемый рассказ Некрасов. Один из наиболее величавых и с любовью выписанных типов русского крестьянина у Некрасова — несомненно, Савелий из поэмы „Кому на Руси жить хорошо" — Савелий, богатырь святорусский, как называет его автор, — сильный телом и духом, несгибаемый, мудрый, знающий правду. И этот-то Савелий отбывал каторгу за убийство.

Село, в котором жил Савелий, окружено болотами, и пути к нему не было.

Кругом леса дремучие,
Кругом болота топкие,
Ни конному проехать к нам,
Ни пешему пройти.

Владелец крестьян, помещик Шалашников от времени до времени вызывал крестьян в город и, требуя с них денег, порол их.

Отменно драл Шалашников,
А не ахти великие
Доходы получал.

Но вот Шалашников умер, а наследник его „небывалое средство выдумал" — прислал в деревню управителя немца.

Через леса дремучие,
Через болота топкие
Пешком пришел, шельмец!

Немец „был сначала тихонький", только заменил крестьянам оброк, который они не платили, работой, — заставил их окопать канавами болото, вырубить просеку

в лесу, наложить бревен, — словом, рассказывает Савелий, —

Спохватились мы,
Как уж дорогу сделали,
Что немец нас поймал!
Поехал в город парочкой!
Глядим, везет из города
Коробки, тюфяки,
Откудова ни взялися
У немца босоногого
Детишки и жена.
Повел хлеб-соль с исправником
И с прочей земской властию,
Гостишек полон двор!
И тут настала каторга
Корежскому крестьянину —
До нитки разорил...
У немца хватка мертвая:
Пока не пустит по-миру,
Не отойдя сосет!

Крестьяне терпели восемнадцать лет, но однажды, взбешенные издевательствами немца, внезапно, неожиданно, без сговора покончили с ним. За эту расправу и попал на каторгу Савелий, богатырь святорусский.

После отмены крепостного права немец-стяжатель является уже в новом виде — в виде предпринимателя, пядь за пядью завоевывающего русскую землю.

В очерке Щедрина „В дороге", входящем в цикл „Благонамеренные речи", автор слушает рассказы ямщика о ненасытном стяжательстве Крестьяна Иваныча, Федора Карлыча, Адама Абрамыча, Ивана Карлыча и других немцев, заполонивших подмосковный район. Грустные размышления вызывают у автора эти рассказы:

„Вы видите собственными глазами и чуете сердцем, — пишет он, — как всюду — и на земле, и под землею, и на воде, и под водою — всюду ползет немец. В этих коренных русских местах... в настоящую минуту почти всевластно господствует немец... И чем ближе вы подъезжаете к Троицкому посаду и к Москве, этому средоточию русской святыни, тем более убеждаетесь, что немец совсем не перелетная птица в этих местах, что он не на шутку задумал здесь утвердиться, что он устраивается прочно и надолго и верною рукой раскидывает мрежи, в которых суждено барахтаться всевозможным Трифонычам и Сидорычам".

„... Но вот и опять дорога. И опять по обеим сторонам мелькают все немцы, все немцы. Чуть только клочок поуютнее, непременно там немец копошится, рубит, колет, пилит, корчует пни. И все это только пионеры, разведчики, за которыми уже виднеется целая армия".

3

До семидесятых годов в русской литературе тема немца почти совпадала с темой „немец в России". Немцу на его родине посвящено очень мало наблюдений и изображений. Но после франко-прусской войны 1870 г. „немецкая проблема" оборачивается и иной стороной. Новообразованная Германская империя становится очевидной угрозой миру и, в частности, явной угрозой русскому народу.

Агрессивная политика Пруссии начинается с прихода к власти Бисмарка (1862 г.). Но наиболее чуткие и знакомые с европейской жизнью русские наблюдатели еще раньше улавливают распространение в Германии нового „прусского" духа — духа национализма и военной агрессии. К числу первых распознавших признаки надвигающейся опасности относится Герцен.

Герцен умер на самом рубеже семидесятых годов — 1 января 1870 г., — не дожив до франко-прусской войны и образования Германской империи. Но еще с пятидесятых годов он тревожно следит за новыми тенденциями и настроениями немцев — провозвестниками нового политического курса Прусского королевства.

В 1857 г., по поводу одной немецкой брошюры, Герцен пишет:

„Любопытно видеть притязания Германии (именно теперь) на всемирно-историческое первенство. Их исключительный национализм, окруженный космополитическими фразами, их ревнивая ненависть старой женщины к России и злопамятная зависть к Франции, вместе с высоким мнением о себе, — доходит до комизма".

По поводу первой бисмарковской войны, — когда Пруссия совместно с Австрией напала на Данию (1864 г.) — Герцен говорил Гарибальди, „что немцы — страшные националисты, что на них наклеили космополитизм, потому что их знали по книгам".

Об исключительном национализме немцев, их необоснованных претензиях на мировое господство, их злобном отношении ко всем соседям, вызывающем ответную нелюбовь к ним, Герцен писал неоднократно.

„Притязание на какое-то огромное национальное значение, — говорит он в одной из последних глав „Былого и дум", — тем смешнее, что оно не предъявляет другого права, кроме неуверенности в уважении других, желания „sich geltend machen[1]".

И тут же Герцен приводит разговор двух немцев — ученого и журналиста-эмигранта.

„— За что нас поляки не любят? — спрашивает ученый.

— Ну, это еще не так мудрено понять, — отвечает журналист, — а вы лучше скажите, кто нас любит, или за что нас все ненавидят?

— Как все ненавидят? — спросил удивленный профессор.

— По крайней мере, все пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русские, славяне.

— Позвольте, Herr Docktor, есть же исключения, — возразил обеспокоенный и несколько сконфуженный гелертер (ученый. — *Б. Б.*).

— Без малейшего сомнения, и какое исключение: Франция и Англия.

Ученый начал расцветать.

— И знаете отчего? Франция нас не боится, а Англия презирает".

О взаимоотношениях немцев и славян Герцен писал:

„Враждебность славян и германцев — факт печальный, но установленный. Каждая ссора между ними открывала глубину их взаимной ненависти. Немецкое господство много содействовало своим характером распространению этой ненависти у западных славян и поляков".

По разным поводам Герцен говорит об отношении немцев к России и русским. Он предупреждает русских о распространенности в Германии взгляда на славян, как на „людские табуны", как на „дикие орды, сформированные в колоссальное военное поселение немецким деспотизмом". Он останавливает внимание русских писателей на немецких статьях, трактующих Россию, как „один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только оттого и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие".

Он систематически отмечает „высокомерную ненависть немцев ко всему русскому, их отвращение к нам, которое они едва могут скрывать", „полнейшую ненависть ко всякому нашему успеху, ко всякому нашему человеческому порыву".

---

[1] Придать себе весу.

„Россию они ненавидят, — пишет он, — вообще все русское и всех русских".

„Каждый русский, являющийся на сцену, встречает то озлобленное удивление немцев, которое не так давно находили от них же наши ученые, желавшие сделаться профессорами русских университетов и русской академии. Выписным „коллегам" казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватом чужого места".

В 1866 г. Пруссия разгромила Австрию. Теперь Герцен формулирует положение в Европе так: „Все чувствуют, знают, что Европа, сшитая прусскими иголками, сшита на живую нитку, что все завтра расползется".

Это пророчество отнюдь не означает, что Герцен недооценивает ближайшей угрозы Европе. Он только не верит в прочность немецкого могущества, сколачиваемого железом и кровью". Но дальнейшее усиление Пруссии в б л и ж а й ш е е в р е м я он предвидит:

„Я не верю, — пишет Герцен в 1867 году, — чтобы судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гоге цоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: „В тебе, Боруссия (т. е. Пруссия — *Б. Б.*), нет ничего, что бы я мог назвать царем". Но все же Пруссия отодвинула Францию на второй план и сама села на первое место. Но все же, окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отечества, она будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписывать штыком и исполнять картечью, по самой простой причине: потому, что у нее больше штыков и больше картечи.

... Воскресит ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба п о с л е д н е г о военного суда, разбудит ли ее приближение у ч е н ы х варваров?"

Герцену в эту пору ясны уже и дальнейшие планы Пруссии. Он не сомневается в том, что немцы сделают попытку отбросить нас к Уралу", — как и в том, что тут они „нарвутся на неизжитые силы русского народа".

После победы над Францией националистический угар быстро отравляет немецких офицеров, чиновников, помещиков, крупных и мелких буржуа, значительные слои интеллигенции. Зловонный дух шовинизма начинает пронизывать всю общественную жизнь господствующих классов Германии. Милитаризм становится осью германской политики.

В 1880 г. в Германии проездом побывал великий сатирик революционной демократии М. Е. Салтыков-Щедрин. В

книге „За рубежом" он рассказал о своих берлинских впечатлениях.

В новом Берлине „все радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость — ничем неоправдываемой претензией на вселенское господство, скромность — неудачным стремлением подкупить иностранцев мещанской роскошью новых кварталов и каким-то второразрядным развратом".

„Вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название „Главный штаб".

Дух прусского солдафонства замечательно уловлен Щедриным в зарисовке прусского офицера:

„Самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли у прусских офицеров дюжее, груди ли у них об'емистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудаком, в форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупичатый, довольный, точно сейчас получил жалование, что не мешает ему впрочем, относиться к ближнему со строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков, если бы не знал его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь. Не потому, чтоб я боялся, что офицер кликнет городового, а потому, что всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: „я герой!" Мне кажется, что если бы, вместо того, он сказал: ‚я разбойник и сейчас начну тебя свежевать', — мне было бы легче...

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в об'еме тоньше и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: „я герой!" Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей аммуниции".

Унылость, „щемящая скука", „отсутствие непоказной

жизни", неискренний, „мрачный характер" самой веселости берлинской — вот впечатление въезжающего в Берлин.

„Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: „счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда!"

Какое иное настроение может охватывать там, „где чувство собственного достоинства заменяется оскорбительным и, в сущности, довольно глупым самомнением, где шовинизм является обнаженным, без всякой примеси энтузиазма, где не горят сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспламеняются только подозрительностью к соседу, где нет ни истинной приветливости, ни искренней веселости, а есть только желание похвастаться и расчет на тринкгельд (чаевые — *Б. Б.*)".

В какую сторону были направлены уже тогда мечты прусской военщины, показывает следующий, рассказанный Щедриным эпизод:

„За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских. Я сидел с краю компании, а рядом со мной помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрил: непременно это должен быть „скиталец" из котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое сейчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем немецком диалекте, и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с ним же и обедала. Но тут-то именно и случилось действительное чудо. Между тем как в среде русских шла оживленная беседа на тему: для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: для человекоубийства), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:

— Блягодару вас!

Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:

— Однако, брат, ты... угораздило-таки вас, mein Herr!

На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:

— Я сольдат; мы уф Берлин немного учим по-русску... на всяк слючай!

Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I усердно „учим по немецку" и все никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь „случай" предвидят... Разумеется,

я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только что формулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубивства".

К эпохе империализма — эпохе массового отравления немцев шовинизмом и милитаризмом — вполне определяется и очерчивается тип рядового немецкого обывателя, характерные черты которого — в особенности, ограниченность, пошлость, бездушие — не раз отмечались революционными просветителями.

„Что за тупой, за пошлый народ немцы", — жалуется Белинский в письме из Германии 1847 г.

„Пруссия бездушна .. Германия вообще ниже всей Европы в развитии гуманности" — отмечает Герцен в своем дневнике в 1843 г.

„Немцы являются самыми тяжелыми и, что еще хуже, самыми тупыми и, что всего хуже, самыми смешными филистерами, — констатирует он же в „Письмах из Франции и Италии".

„Немец, — говорит Щедрин, — если он не гелертер, не присяжный политик и не чиновник, — есть обыватель по преимуществу. Он всецело предан идее насущного хлеба и тем подробностям, которыми эта идея обставлена; затем все отношения его к государству... ограничиваются податями и солдатчиною".

Щедрин иллюстрирует благонамеренную тупость и аккуратную жестокость немцев, сообщая своим читателям объявление некоего Кунца об изобретенной им „гигиенической раздвижной кушетке для сечения детей".

„Право, — замечает Щедрин, — я все-таки очень рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов... Мне кажется, что если бы это изобретение принадлежало Иванову, то каторги за него ему было бы мало. А Кунцу — как раз впору" („Недоконченные беседы").

С гениальным лаконизмом выразил Щедрин свой взгляд на немцев и их притязания в России и во всем мире — в упомянутой книге „За рубежом", в знаменитом диалоге „мальчика в штанах и мальчика без штанов", — то-есть немца и русского. Немец чванится перед русским:

„Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, — а когда я от имени немцев предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: „выкуси!".

„Правду ты сказал, — отвечает русский, — есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения, да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только, чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? — немец! И заметь, что, сравнительно, ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство — тоже, а ваши учреждения — и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Вот вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои „объединенные" немцы — и тех тошнит от вас, „объединителей".

4

Писатели девятнадцатого века могли показать только зарождение и начало пути развития современного немца-фашиста. Дать понятие о конечном пункте этого развития мог бы только писатель, одаренный гениальной силой прозрения, — да и то в форме фантастической, где тенденции „прусского духа" были бы показаны не в той стадии, до которой они дошли в прошлом веке, а в своем логическом пределе. Для этого требовалась бы неимоверная сила и смелость воображения, сила сатирической фантазии. Такая сила была присуща гению Щедрина.

Многие страницы Щедрина кажутся сейчас пророческим описанием фашистского мракобесия и тупого зверства. Читая теперь его „сказки", его описания „волшебств", созданных ходом реальной жизни, поражаешься тому, с какою ясностью воплощал он в образах своей фантазии полное раскрытие едва заметных потенций.

Оглядываясь в старости на пройденный путь, Щедрин писал:

„Неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия,

ганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д.».

Фашистская Германия — это и есть царство произвола, двоедушия, ганья, хищничества, предательства и пустомыслия. Материал для своих обличений Щедрин черпал в наиболее отсталой по тому времени из европейских стран — в царской России с ее сановниками, ломавшими народную жизнь по бюрократическому произволу, с ее воинствующими духовными и светскими мракобесами, с ее взяточниками — чиновниками и драчунами — полицейскими, с бездельниками — помещиками и наглыми обиралами-кулаками. Мракобесие, насилие и произвол мрачили жизнь царской России, — но не будем обижать ее сравнением с фашистской Германией. Ведь Держиморда все-таки — апостол гуманизма по сравнению с рядовым эсэсовцем. И то, что было гротескным преувеличением в отношении господствующих классов царской России, явилось точной художественной оценкой подлых идеалов фашистов и их разбойничьего поведения.

Пороки царской России Щедрин изображал как бы под увеличительным стеклом — и его образы казались фантастическими, — а в наше время фашисты воплотили самые, казалось бы, фантастические выдумки в повседневную действительность.

Вот пример. В „Пестрых письмах" выведен чиновник Федот Архимедов, школьный товарищ автора, известный в школе за круглого дурака. В голове у него, по утверждению товарищей, „завелось мышиное гнездо". „Федот никогда ничего не читал, кроме одного и того же номера старого журнала, — и тем не менее постоянно сочинял и подавал начальству проекты, которые благосклонно изучались в высших сферах, хотя, прибавляет Щедрин, — „по всем вероятиям, ни одному из них не предстоит осуществления (черезчур уж они смелы)". Встречаясь с автором, Федот Архимедов „начинает разматывать один за другим нагноившиеся в его голове прожекты". Некоторые автор передает. Наиболее интересен проект „Института племенных молодых людей".

„Наблюдения сведущих людей показывают нам с последнею очевидностью, — педантично излагает владелец мышиного гнезда, — что качества, как физические, так и нравственные, наследственно переходят от производителей к производимым... Отец, обладающий большим носом, передает его по наследству сыну, а в некоторых случаях, к несчастью, и дочери. Точно то же явление замечается и относительно характера (особенно, ежели характер строп-

тив)... Следовательно, дабы получить молодое поколение, вполне соответствующее требованиям благоустройства и благочиния, необходимо, главнейшим образом, упорядочить производительную среду... Говоря языком науки „всякий молодой человек, воспроизводящий в лице ребенка подобие самого себя, не только удовлетворяет этим естественной склонности к самовоспроизведению, но в то же время влияет и на дальнейшие судьбы своего отечества"... Заручившись этим основанием, я говорю себе: „так как состав и свойство грядущих поколений находятся в тесной зависимости от состава и свойств ныне действующего молодого поколения, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести в последнем такой подбор людей, который представлял бы несомненное ручательство в смысле благонадежности. Или, говоря языком науки, необходимо... образовать институт племенных молодых людей, признав чисто правоспособными только тех молодых людей, кои... окажутся того достойными... Одного не могу допустить и не допущу: — „это, чтоб элементы неблагонадежные или сомнительные могли проникнуть в корпорацию правоспособных... нет! не допущу!

— Но ежели...

— Никаких „ежели" в проекте моем не допускается. Вопрос поставлен ясно и категорически, а сверх того, чтобы кадры не номинально только, а действительно оставались замкнутыми, имеется в виду неусыпное наблюдение и строго соображенная система взысканий. Прорваться не будет возможности. Сначала, конечно, в отношении к покушающимся будут пущены в ход меры кротости и убеждения, потом — взыскания, постепенно усиливаемые, и наконец...

— Ах!

— И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь, что благодаря содействию племенных молодых людей, следующее же поколение получит совсем другую окраску. О разнузданности не будет и в помине, а ежели и останутся отдельные индивидуумы, имеющие унылый и недоброкачественный вид, то они мало-помалу изноют сами собой".

Этот проект осуществлен в фашистской Германии под названием „расового закона". Отношение к людям, как к племенному скоту, кастрация политических противников под видом „улучшения расы", ложные ссылки невежды на науку — все это в точности заимствовали современные германские законодатели и идеологи у щедринского чи-

новника с мышиным гнездом вместо мозгов. Надо только сказать, что Федот Архимедов все же был несравненно гуманнее фашистов. Кастрацию он рекомендовал применять только после ряда „мер кротости“ и „постепенных взысканий“, — и насильственного оплодотворения женщин „племенными молодыми людьми“ не предусматривал.

Словно по проекту Федота Архимедова осуществлена в фашистской Германии и так называемая „унификация печати“. Проект щедринского героя состоял в том, чтобы после суровой чистки „ограничить число деятелей печати определенным комплектом“, — „на первых порах“ числом 101. Эти „действующие литераторы“, состоящие в штате и получающие жалованье, делятся на „отряды“, которым разрешается — вернее, вменяется в обязанность — вести между собой полемику, но лишь „по воспоследовании пригласительного сигнала“ и притом полемику, „сливающуюся в одном общем чувстве признательности“.

Можно привести и другие проекты щедринских героев, довольно точно скопированные их духовными преемниками („О необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств“. „О расстреляниии и благих оного последствиях“ и т. п.). В духе этих проектов создавались Щедриным и образы их исполнителей — образы полуживотных — полуавтоматов, вредных идиотов, ставящих себе целью подавление народного духа, искоренение мысли, уничтожение самобытности и инициативности народа. И опять-таки удивительно, насколько щедринские персонажи близки к современным фашистам.

Скажем, одно из гениальнейших созданий Щедрина — градоначальник Угрюм-Бурчеев явно имеет своим прототипом Аракчеева, но „систематический бред“, осуществляемый Угрюм Бурчеевым, не столько похож на аракчеевские военные поселения, сколько на современную фашистскую Германию, а сам Угрюм-Бурчеев похож на Аракчеева, как сатирический гротеск, а на Гитлера — как фотографический портрет.

Вот для сравнения — щедринское описание портрета Угрюм-Бурчеева.

„В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда неосвещавшимся улыбкой Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками;

взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж, это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии осознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно.

...Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может пустыня и представляет в его глазах именно ту обстанов-

ку, которая изображает собой идеал человеческого обще-жития".

Разве это не схожий до жути портрет фашистского „вождя"? Разве эти слова не вскрывают его сердцевину?

А „ретивый начальник" из „Современной идиллии", принявший за правило „стараться как можно больше вреда делать, а уж из сего само собой впоследствии польза произойдет"? И вот он, собрав в помощь ораву „мерзавцев", „вредит год, вредит другой. Народное продовольствие прекратил, народное здравие упразднил, письмена сжег, и пепел по ветру развеял". „Программа" ретивого начальника — упразднять науки, палить города, а в итоге превращать „остепенившийся край" в „каторгу" — поразительным образом предсказывает современный фашизм с его концлагерями, с его тупыми казарменными идеалами и ненавистью к знанию и культуре.

Недаром художественным образом „ретивого начальника" воспользовался товарищ Сталин в своем историческом докладе о проекте Конституции. Говоря о германских фашистах, товарищ Сталин вспомнил одну из резолюций „ретивого начальника", приказавшего своим подчиненным „закрыть Америку". И, обращаясь к цитате из Щедрина, товарищ Сталин закончил свое сравнение пророческими словами: „Закрыть на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то „сие от них не зависит".

П. ДРАВЕРТ

О ДВУХ ИСКОПАЕМЫХ

1. ГЛИНА

Мне хочется рассказать здесь небольшую историю о том, как нынешняя Отечественная война перевела в разряд полезных ископаемых одно скромное произведение природы, в практическом значении которого раньше можно было бы на первый взгляд усомниться.

Одиннадцать лет тому назад, экскурсируя в ближайших окрестностях Омска, я встретил в выемке окружной железнодорожной ветки, недалеко от кирпичного завода № 7, искусственный разрез осадочных пород. Бурые четвертичные суглинки подстилались плиоценовыми глинами. Из последних нижний пласт обратил на себя особое внимание. Это была темнокоричневая глина, отличающаяся высокой пластичностью. Измерив мощность слоев и сделав описание разреза, я захватил с собой образцы пород для коллекции Омского музея, где тогда работал. Вскоре глина высохла, превратившись в твердую массу, напоминавшую по цвету шоколад. Химический анализ показал в ней повышенное, по сравнению с большинством омских глин, содержание окиси алюминия.

В то время я был близок с кружком местных художников, входил в их интересы, поскольку позволяла моя специальность, и мне захотелось испробовать, может ли эта глина найти применение как краска в станковой живописи. Я обжег кусок ее в маленькой электрической печи, измолол, просеял через частое сито. Получился порошок желтого цвета, напоминающий ту французскую охру, которая добывается в горах департамента Воклюз.

Однажды в мой рабочий кабинет зашел знакомый художник Е. А. Крутиков. Мы поговорили о предстоящей выставке картин, о новых сибирских экслибрисах, а потом я показал ему глину и то, что из нее вышло после обжига. Он вынул из своего ящика скляночку с маковым маслом, растер с ним в агатовой ступке порошок и сделал ряд мазков по обломку стекла и на деревянной пластинке.

— Ну, каково ваше заключение, — подойдет ли вам эта краска? — спросил я.

— Цвет приятный и укрывистость хороша. В случае нужды мы воспользуемся вашей находкой, а пока у нас недостатка в красках не ощущается: Москва снабжает исправно.

Уходя, художник взял кусок глины, а когда мы встретились снова, он сказал, что глина эта годится и для скульптурных мастерских, как масса для изготовления моделей.

Проходили годы. Крутиков неожиданно для всех в расцвете сил и способностей умер. Еще до этого в 1933 году, отметив в одной из своих печатных работ, что в нашей области могут быть обнаружены

глинистые породы, пригодные для осветления масел, я дал краткую характеристику глины с окружной ветки. Но никто ею тогда не заинтересовался.

Разразилась навязанная нам германскими фашистами жестокая война. Война внесла колоссальные изменения в жизнь нашей страны. Изменился и Омск, энергично начав приспосабливать все отрасли своей старой и быстро возникнувшей новой промышленности для нужд фронта и укрепления тыла.

Ранней весной 1942 года ко мне обратился инженер одного завода с просьбой указать ему какое-нибудь местное ископаемое, которое могло бы при очистке специального масла заменить естественный продукт, добывавшийся ранее в одной из центральных областей европейской части Союза ССР. Уже знакомый с некоторыми особенностями глины, о которой идет речь, я рекомендовал ему взять ее для опыта. В ближайший сухой и теплый день мы съездили на месторождение за материалом, а спустя немного времени инженер сообщил мне, что глина после соответствующей обработки оказалась подходящей. Таким образом подтвердилась ее адсорбирующая способность [1]. Глина эта могла бы употребляться также для мытья шерсти и сукон, не говоря уже о том, что она нашла бы применение для регенерации масел на наших машинно-тракторных станциях. А залежи подобной глины, как мне известно, имеются и в некоторых других районах области.

Той же весной, учитывая дефицитность жиров и перебои с мылом, я стал определять моющие способности глин, встречающихся вблизи Омска. Из нескольких разновидностей, отобранных для этой цели, лучший эффект дала все та же третичная глина шоколадного цвета. Отмучив ее от редких и мелких известковистых включений и доведя суспензию выпариванием до плотности густого теста, я сформовал несколько брусков и дал им подсохнуть, но не до полной потери влажности. Получившееся „минеральное мыло" пены, конечно, не давало, но прекрасно отмывало руки, нарочито загрязняемые жирными и смолистыми веществами, осветительными, машинными и другими маслами. В сущности никакого открытия тут не было. Употребление некоторых видов глин для туалетных надобностей известно у многих народов с весьма древних времен и теряется в глубине бронзового века.

Вскоре нашлась еще одна моющая глина, светлозеленовато-серого цвета, в карьере кирпичного завода № 8, где пласт ее лежал непосредственно под суглинками, идущими для производства кирпича. Я изготовил из нее большое число кусков минерального мыла и начал раздавать их для пробы рабочим, домашним хозяйкам и представителям некоторых учреждений. Отзывы получались хорошие, и часто многие лица просили меня опять снабдить их этим мылом. Им не только мыли руки, но стирали засаленные фуфайки и чистили посуду. Физико-химическую характеристику глины и описание несложного способа изготовления из нее мыла я передал инженеру-керамику завода, на территории которого находилось месторождение.

Осенью я узнал, что на кирпичном заводе в Челябинске уже налажено производство минерального мыла, которое завоевало широкую популярность среди окрестного населения.

Дальнейшие мои опыты показали, что в состав минерального мыла, кроме щелочей, могут вводиться дезинфицирующие вещества, а для запаха добавляться и ароматические начала.

---

1 Адсорбция — поглощение твердым веществом жидкости, газа или твердого вещества, растворенного в жидкости. Адсорбирующие горные породы обладают способностью в естественном состоянии или после их активации поглощать красящие пигменты и смолы из животных, растительных и минеральных масел.

Летом того же года в лабораторию строительных материалов пришли за консультацией три врача большого госпиталя. Между прочим, им была нужна для медицинских целей глина с определенными свойствами. Осмотрев предъявленные им образцы, испробовав их пластичность, они остановились опять-таки на глине с окружной ветки. С директором госпиталя снова поехал я на месторождение. Дорогой он рассказывал мне, что в Горьковской области некоторые из тамошних глин с успехом используются в местных лечебных учреждениях; надо освоить этот опыт и нам.

Мы спустились по откосу и подошли к обнажению. Доктор отлично, не хуже, чем ланцетом, владел лопатой, и скоро большой мешок был полон комками плотной и вязкой породы. „Пока хватит и этого, — сказал он, — а на-днях я пошлю сюда грузовую машину".

Мы возвращались в город. Бодро бежала рыжая лошадка. Отрадно для глаз голубело безоблачное небо, хорошо грело июльское солнце, благоухали дикие травы, и радостно было на душе от того, что наше ископаемое находит новое применение — на этот раз для восстановления здоровья наших доблестных бойцов, проливающих свою кровь за дорогую всем нам Родину.

Что же, в конце концов, представляла собой эта глина? Результаты химического анализа говорили крайне мало об ее природе. Определение гранулометрического состава показало преобладание в нем фракций с весьма ничтожными размерами частиц. Следовало полагать, что порода слагается тонкодисперсными коллоидными водными алюмосиликатами, чем и объяснялась обесцвечивающая способность этого тела. Меня интересовала петрографическая сторона, — какие именно минералы в тончайшем распылении, не распознаваемые под обыкновенным микроскопом, входили в состав данного ископаемого. Строго говоря, с этого надлежало бы начать, но поляризационного микроскопа с необходимыми к нему принадлежностями не было в моем распоряжении.

Я обратился тогда к одному из крупнейших специалистов в Союзе — профессору П. Н. Чирвинскому, послав ему в письме несколько кусочков глины. Петр Николаевич любезно согласился помочь мне, а затем я получил от него обстоятельное описание породы и новое подтверждение ее отбеливающих свойств. Выяснилось, что в основном глина состоит из двух минералов — монтмориллонита и ермакита. Первый из них был открыт около ста лет тому назад во Франции, впоследствии же обнаружен в очень многих пунктах, а ермакит оказался моим „крестником": под этим названием я в 1926 году описал новый минерал, открытый мной в третичных отложениях по правобережью Иртыша, т. е. той реки, в волнах которой погиб один из замечательных русских людей Ермак Тимофеевич. Здесь мы имели чрезвычайную раздробленность этих минералов — на многие миллионы ничтожных частиц в кубическом сантиметре, благодаря чему порода приобрела новое качество.

Я не стану входить в разные подробности, открывшиеся при детальном исследовании нашей глины, родоначальниками которой были изверженные породы древних, не существующих ныне гор. Скажу одно: надо тщательно, всесторонне изучать ископаемые своего края, изыскивать пути к использованию их для нужд народного хозяйства. Любое ископаемое, заключенное в недрах земли, только тогда получает название полезного, когда к нему предварительно приложены знание, опыт и труд человека. Южная часть Омской области, более населенная и богатая путями сообщения, по условиям своего геологического прошлого бедна минералами и горными породами. Тем больше оснований к тому, чтобы стремиться выявить в находящемся под руками косном природном материале такие особенности, которые введут его в узкий или широкий обиход нашей жизни.

Мысль, кажется, простая, — надо только неустанно претворять ее в дело. До войны не все еще сознавали это, избалованные огромными естественными богатствами нашей колоссальной по площади страны. Но теперь, когда транспорт в первую голову должен обслуживать Красную Армию, мы не вправе рассчитывать, что железные дороги быстро доставят откуда-нибудь необходимое сырье, как бывало прежде. Его надо отыскивать у себя дома или по соседству, а если его и там не обнаружится, — постараться найти подходящий заменитель.

Так будем искать и испытывать, а природа не окажется у нас в долгу, и затраченные труды не пропадут бесследно.

II. ВИВИАНИТ

Около десяти лет тому назад в Тюменском бюро краеведения была получена из района посылка с препроводительным письмом одного колхозника. В письме запрашивалось, какое применение может найти посылаемая белая глина. Когда вскрыли ящик, в нем, к удивлению присутствующих, оказалось землистое вещество прекрасного синего цвета... Вначале предположили, что тут произошла какая-то путаница, но потом выяснилось, что любознательный крестьянин наткнулся в болоте действительно на белое природное тело, а пока посылка с ним путешествовала по почте, оно приняло, как и полагалось ему, синий цвет. Но это вещество было не глиной.

Академик А. Е. Ферсман в его увлекательной книжке „Занимательная минералогия“ передает следующий эпизод из своей молодости. „Как то раз, я помню, мне пришлось ехать на дачном поезде в окрестностях Москвы, — вдруг я увидел в канавах, которые рыли через болото, яркосинюю полоску, яркосиняя земля выбрасывалась лопатами рабочих, а вокруг вырытой канавы все сверкало синим цветом. Должен сознаться, что почти кубарем вылетел я на первой же станции, помчался вдоль полотна и стал присматриваться к диковинномуминералу, — действительно, болото почти заросло, отмершие растения образовали плотный бурый войлок, который мы называем торфом, а в нем залегала аккуратная прослоечка синей земли. Только когда я вернулся домой с обильным грузом синего камня, я вычитал в книгах, что наш минерал был вивианитом, фосфорнокислой солью железа, и что его образование связано с разрушением органического вещества растений и животных“.

И молодого Ферсмана и тюменских краеведов прежде всего поразила неожиданность великолепной окраски минерала. В самом деле, синих камней не так уж много в природе, а особенно мало их в местностях, слагаемых молодыми с геологической точки зрения отложениями. Мне не забыть состояния того изумления, граничившего с недоверием к собственным глазам, которое я испытал однажды на севере Якутии, впервые увидев в береговом обрыве пласт ископаемого льда темнолазурного цвета. Это был вещественный остаток последнего ледникового периода, следовательно, образование по нашему геологически молодое, хотя со времени его возникновения минули долгие десятки тысяч лет.

Вивианит — один из типичных минералов биосферы, той земной оболочки, которая является областью жизни. В эту оболочку нашей планеты включаются воздух до высоты около 15 километров, океаны с морями до самого их дна и твердые породы Земли, примерно, до глубины трех километров.

Мы знаем, что выступающие на поверхность Земли горные породы и продукты их механического и химического разрушения с изначальных времен делаются достоянием многочисленных растений и животных. Растения извлекают из неорганических тел необходимые им химические эле-

менты, накапливают их в себе в сложных углеродистых и других соединениях, а животные, питающиеся растениями, усваивают нужные им элементы уже в других сочетаниях, в иных количествах. В конце концов те и другие после своей смерти и дальнейшего распада дают начало разнообразным минералам биосферы.

Атомы фосфора и железа, связанные миллионы лет тому назад в минералах изверженных пород, излившихся из недоступных нам глубин Земли, постоянно странствуют и проходят через непрерывно обновляющиеся тела живых существ, пока не находят в биосфере временного успокоения в формах некоторых минералов, между прочим и вивианита.

Вивианит действительно родится белым (точнее — бесцветным, а в кристаллах даже прозрачным), представляя тогда собой чистый восьмиводный фосфат закиси железа. Но он, как и всякий другой минерал, устойчив только в условиях своего образования. При действии на вивианит кислорода воздуха соль закиси железа частично переходит в соль окиси, и тогда он делается синим, как бы отражая в себе цвет атмосферы. Однако и в таком виде он не достаточно прочен. С течением времени окислительные процессы могут превращать его в керченит, беронит и другие минералы, пока в конечном счете не получится гидрат окиси железа — лимонит — всем известный бурый железняк, наравне с кварцем один из наиболее устойчивых на земной поверхности минералов. Для основного закона природы „Все течет, все изменяется" нет исключений и в минеральном царстве, наиболее косном в геометрически правильных структурах его представителей.

При образовании кристаллических многогранников свободная энергия рассеивается, сводится в них к минимуму; это поистине мертвые тела в отличие от живых существ, которые накопляют в себе химическую и лучистую энергии и препятствуют рассеиванию теплоты в космическом пространстве. Но все-таки как эффектно выглядят в общем небольшие кристаллы вивианита из окрестностей Керчи, выросшие внутри окаменелых раковин третичного периода. Они то густого синего, то темнозеленого цвета со стеклянным блеском их граней и с жемчужным на плоскостях спайности. Слизистые, расплывающиеся тела давно погибших моллюсков заменились изящными постройками из атомов железа, фосфора, кислорода и водорода.

В низовьях Оби я видел на часто находимых там тяжелых бивнях мамонта красивые розетки из шестоватых кристалликов вивианита. Это были настоящие художественные произведения; как голубые звездочки или цветочные венчики рельефно выделялись они на палево-желтом фоне древней слоновой кости. А в омских торфяниках и болотных почвах мы находим вивианит в виде прослоек и гнезд землистого сложения. В плотных глинах, например, по берегам реки Уя и Демьяна, вивианит встречается порой округлыми желваками размером до гусиного яйца, заключенными в компактную скорлупу из железистых окислов.

Вспоминаю, как осенью 1923 года, воспользовавшись остановкой иртышского парохода близ деревни Танатовой, я вышел на обмелевший берег. Тут у самой воды в беспорядке лежали крупные древесины лигнита, кости носорога, лошади и бизона и здесь же вперемежку с кусками сидерита были разбросаны окатыши рыхлого вивианита величиной с грецкий орех, очевидно вымытые рекой из глинистых отложений. Сопровождавший меня студент также заметил их и, начав собирать, сказал в недоумении: „Странно, неужели бабы ходят сюда подсинивать белье и так неэкономно расходуют синьку? Вы знаете, теперь ее у нас в Омске очень трудно достать". Я ответил ему: „Не посоветовал бы я вам употреблять это вещество, если вы не хотите испор-

тить белья,—на нем останутся рыжие пятна, ведь это—вивианит". Только тогда мой помощник припомнил, что он слышал год назад об этом ископаемом на моих лекциях по минералогии.

В старинных руководствах восемнадцатого века мы не найдем слова вивианит; его называли то „синяя железная земля", то „натуральная берлинская лазурь", то „голубая охра". Лишь в начале 19-го столетия он вошел в научную номенклатуру под принятым теперь названием, присвоенном ему в честь английского минералога Вивиана.

Все это так, скажет практически настроенный читатель, но разъясните нам, какая польза от этого камня, чем он может послужить человеку?

Вопрос вполне законный и надо дать на него ответ.

Прежде всего напрашивается мысль использовать вивианит, как природную краску. Только три синих минерала пригодны для этой цели Но чудесный по глубине тона ляпис — лазури (лазурит) редок, а потому чрезвычайно дорог, и прочная несравненная краска из него, высоко ценившаяся старыми художниками, ныне вышла из употребления, вытесненная искусственным ультрамарином и другими дешевыми химическими препаратами. Азурит (он же голубец, горная синь), близкий по составу к малахиту, обходится не дешево и краска из него, помимо ограниченности применения, обладает слабой кроющей способностью.

Что касается вивианита, то надо сказать, что красящие свойства его до сих пор недостаточно изучены; им почему-то мало занимались. Имеются указания, что на клею и с маслом он приобретает грязноватый и темный фон, но дает отличные результаты при окраске по глине и по штукатурке внутренних помещений. В Сольвычегодском районе, Архангельской области, по реке Пинеге местные жители используют вивианит для окраски ниток, холста и деревянных изделий, но не особенно успешно; зато хорошие результаты получаются при окраске печей. В ряде селений Знаменского района нашей области я видел ставни изб, оконные наличники и некоторые предметы домашнего обихода (скамейки, столы, полки), покрашенные вивианитом. К сожалению, стертый с олифой наш минерал не давал краску такого же чистого цвета, как он сам, — к синему примешивался зеленовато-серый оттенок.

В далеком Баргузинском аймаке Бурято-Монгольской республики жители издавна используют вивианит тоже как минеральную краску. В этом районе находятся исключительные по богатству месторождения вивианита. Протекающая там река Ципикан местами проложила себе ложе в этом ископаемом, и вода ее окрашена в синий цвет.

Гораздо более важное значение может иметь вивианит в народном хозяйстве нашей страны как фосфорное удобрение, что было выяснено уже в годы советской власти. Академик Д. Н. Прянишников, основываясь на произведенных им опытах, пришел к выводу, что вивианит стоит выше фосфоритов и костяной муки, приближаясь к томасшлаку. В Белорусской ССР, обладающей крупными природными запасами вивианита, последний широко и с успехом применяется в сельском хозяйстве как удобрение, а завоз фосфоритов по специальному распоряжению правительства сведен до весьма скромной цифры.

Когда в Халяпинском болоте вблизи села Комарова, в 14 километрах на юго-восток от Тюмени, были обнаружены скопления вивианита в форме линз мощностью до полутора метра, то образцы его посылались для испытания в Агропочвенный институт Белорусской Академии Наук. Отзыв о качестве природного материала получен был весьма хороший: содержание в последнем фосфорной кислоты определилось до 28 процентов. Вскоре было открыто новое месторождение в соседнем, Велижанском районе, между селениями Большим и Малым Заморозновым, где по

утверждению местных жителей, солидные прослои вивианита залегают всего на полуметровой глубине от дневной поверхности.

Тарские краеведы, руководимые энергичным директором музея т. Вагановым, нашли вивианит во многих пунктах Тарского, Седельниковского и Знаменского районов. Нам известен еще ряд точек в Тевризском, Уватском, Тобольском, Нижне-Тавдинском и Самаровском районах, где также зарегистрированы находки вивианита. Но это далеко не все, что может дать обширная Омская область. Неоткрытых месторождений в ней значительно больше, чем мы знаем к настоящему моменту.

Представим теперь, какое огромное количество фосфора в виде его солей извлекается из наших почв только одними хлебными злаками и вывозится отчасти в зерне и муке навсегда из пределов области. По подсчету доц. М. М. Садырина, ежегодно зерновыми культурами у нас в Омской области отчуждается в круглой цифре до 3 700 тыс. пудов фосфорной кислоты (P_2O_5). Совершенно ясно, что нужно пополнять эту убыль необходимого для растений элемента привносом в почвы соответствующих туков. Это частично и делается, но минеральные удобрения привозятся к нам издалека и потому обходятся не дешево. Вот здесь наш минерал может оказать существенную услугу земледелию, постепенно продвигающемуся на север Омской области. Безусловно необходимы нарочито поставленные поиски промышленных месторождений вивианита, изучение условий его залегания и определения природных запасов.

Совсем недавно, в этом году, научный работник Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, проф. Я. М. Берзин поставил проблему использования вивианита для минеральной подкормки скота. Перед отъездом в Москву в личной беседе со мной он высказал уверенность в успешном разрешении этой задачи. Им же предположено начать опыты с вивианитом для освобождения соломы от инкрустирующих веществ, которые, проходя неизмененными через пищеварительный тракт животного, являются бесполезным балластом в корме.

Мы видим, что для нашего минерала открываются новые перспективы. И кто знает, какие еще другие применения найдет этот мягкий синий камень, когда им вплотную займутся люди науки и техники. Можно назвать не мало ископаемых, в течение 150—200 лет, казалось бы, бесплодно лежавших в музейных коллекциях разных стран и неожиданно, на нашей памяти, оказавшихся ценными объектами добывающей и обрабатывающей промышленности.

Возвращаясь теперь к Омской области, отмечу как курьез, еще один вид использования вивианита. В болотах Тевризского района попадаются его стяжения величиной с человеческую голову. Район этот, как отстоящий далеко от больших культурных центров, хранит в себе кое-какие пережитки седой старины — в том числе и доморощенных знахарей. Есть среди них и такие, которые искренне убеждены в своих врачебных талантах, а есть и просто обманщики, строящие свое благополучие на недугах местных жителей. Знахарям этим известно свойство вивианита делаться синим при доступе воздуха. Поэтому они сберегают его в плотно закрывающихся сосудах и подальше от солнечных лучей. А когда приходит больной, знахарь, осмотрев и расспросив его, отсыпает ему щепотку белого порошка и внушительно говорит: „Держи его у себя там-то (следует указание, где именно), а потом, когда посинеет, втирай в такое-то место". Через короткое время пациент воочию убеждается, что белое снадобье стало ярко-синим, и с крепкой верой принимается за немудрый курс лечения.

Разумеется, просвещение, все больше и больше проникая в глухие

дебри, скоро сведет на-нет таких врачевателей. И наш сельский учитель, преданный своему благородному делу, пожалуй, больше других приложит тут свою руку, неся свет знания в оставшиеся то здесь, то там темные углы. Война временно прекратила к нам доступ мела, который употреблялся для изготовления замазки, шпаклевки, зубного порошка и для других надобностей, в том числе и для школьных мелков. И вот в ряде школ Тарского округа сельские учителя пустили в ход на классных досках мелки из местного вивианита. Не все ли равно, белым или синим цветом будет изображена на черной доске таблица умножения, лишь бы не срывались занятия со школьниками. Выход из кризиса был найден. Пусть это начинание принадлежит, по своему масштабу, к скромным культурным достижениям, однако оно является новым шагом вперед в деле освоения минеральных ресурсов Омской области.

Пожелаем же нашему вивианиту широкой дороги и всяких успехов тем, кто над ним работает.

Ин. ШУХОВ

ЛЕТАЮЩИЕ ТОБОЛЯКИ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Тоболяки дали очень много замечательных людей, стяжавших себе громкую славу, а часто и мировое имя. Среди этих выдающихся людей своего времени были поэты, литераторы, композиторы, художники и крупные политические деятели. Имена их известны и перечислять я их не буду. Навряд ли кому известны тоболяки, совершившие воздушные полеты на заре развития русского воздухоплавания. Я знал их и о них хочу рассказать здесь.

I. МЕДАЛЬ МОЕЙ БАБУШКИ

Омск в 80-х годах был городом военно-чиновничьим. Культурные запросы его обывателей были узки, и ходившая по рукам рукопись стихотворения характеризовала их так:

„Сплетни, дрязги, карты,
Карты и вино...
Кредиторы — сарты..,
Вечно все одно!
Изгнаны журналы,
Не видать газет,
Каждый день скандалы
И конца им нет!.."

Но газеты и журналы кое-кто выписывал и читал.

Западно-Сибирский отдел Русского Географического Общества и его музей объединяли людей, интересующихся изучением своего края и всякими географическими новинками. Неудивительно поэтому, что в июле 1897 года маленькое общество людей узнало, что швед Соломон Август Андрэ на воздушном шаре „Орел" вылетел открывать Северный Полюс. А позже дошли вести и о гибели этой отважной экспедиции, дерзнувшей открывать Северный Полюс воздушным путем.

У моего отца, тогда хранителя музея, собирались члены географического общества и краеведы. За чашкой чая велись, как я вспоминаю, оживленные разговоры и споры о полете Андрэ к Северному Полюсу. Больше всего их интересовал вопрос о причинах гибели воздухоплавателей. По этому поводу высказывались самые фантастические предположения. Их было много. Из того, что я слышал, мне особенно запомнился один рассказ такого рода: „Из шара вышел газ и он стал спускаться на Ямал (Ямал). Собравшиеся самоеды начали палить из ружей по шару и убили Андрэ и его спутников".

Однажды во время такого разговора, моя мать сказала, что ее тетка Клавдия Ильинична тоже летала на воздушном шаре. Я, внимательно слушавший эти интересные разговоры, обратился к матери:

— Ты говоришь, что бабушка Ильинишна тоже летала на воздушно шаре?

— Да, сынок, летала, и даже медаль получила, — отвечала мне мать.

— Пойдем к ней, пусть она мне расскажет, как это там в воздухе, вы соко, высоко...

Мать обещала сводить меня к бабушке, только предупредила, чтоб я не был назойливым.

И вот наступил долгожданный день. Мы пошли к бабушке. Бабушк приняла нас сухо. Между ней и матерью шел натянутый разговор. В одну из пауз я по-детски наивно спросил бабушку:

— Вы тоже летали, как Андрэ? Я хочу посмотреть медаль и газету где написали про вас.

Мать строго посмотрела на меня, а бабушка встала и вышла в сво будуар. Оттуда она принесла в коробочке медаль и газету. Медаль я удовольствием посмотрел Помню, на ней был какой-то портрет и над пись. К газете же отнесся равнодушно, так как французский язык изуча лишь второй год.

Спустя много лет, будучи уже студентом второго курса, я проездо через Омск посетил бабушку, которая „летала". Теперь бабушка при няла меня радушно и расспрашивала о моем путешествии на север (нем она знала из местных газет).

— Ты это, значит, вроде Андрэ, задумал? — расспрашивала мен бабушка.

Я вспомнил детские годы и то, как бабушка нехотя показывала мн старую золотую медаль, и теперь снова попросил ее рассказать о полет

На этот раз бабушка была разговорчивей. Вот что я узнал из е рассказа:

Париж, июль 1877 года. Уроженка города Тобольска, Клавдия Ильи нична Пахолкова, жена главного врача военного госпиталя в Омске, по пав с мужем в научную командировку в Париж, поднимается на аэро стате Шарлэ. Парижане устраивают бурную овацию отважной сибирячк преподносят ей маленькую золотую медаль, а парижская пресса восхва ляет ее в газетах, как героиню.

Бабушка была первая сибирячка—воздухоплавательница.

II. ОТВАЖНАЯ ПОСУДНИЦА

Омск, июль 1908 года. В душную жару обыватели города останав ливаются у разноцветных афиш, расклеенных по всему городу Афиш извещают о необычном: „Аэронавт Уэблини в воскресенье 12 июля совер шит свободный полет на воздушном шаре, без корзины, на подвешенно трапеции, и проделает номера эквилибристики в воздухе. Шар подымето из „Детского сада" (ныне сад „Аквариум") ровно в 7 часов вечера". Вес город собрался смотреть необычайное представление. Сад был перепо лнен, люди стояли на Железном мосту, сидели на крышах домов и на за боре сада. Первый полет состоялся.

Шар Монгельфьер, черный, весь прокопченный дымом, поднялся н высоту 150—200 метров и, перелетев реку Иртыш, пошел на снижени Он приземлился там, где сейчас аэропорт.

В следующее воскресенье должен был состояться второй полет пассажиром. Причем „тому, кто согласится лететь, аэронавт Уэблин уплачивает 25 рублей" — так гласили афиши. В день полета сад бы переполнен. На Железном мосту через Омь стояли толпы народа. Межд низкорослыми деревьями сада был виден черный шар.

Музыка заиграла марш, шар быстро пошел на подъем, на трапеции с дел аэронавт и молодая женщина в матросском костюме. Около них в

ели два спасательных круга. Достигнув 100 — 150 метров высоты, шар, тнесенный ветерком к реке Омь, начал снижаться. До воды оставалось не более 40 — 30 метров... А аэронавт и его спутница начали отцеплять спасательные круги от тросов трапеции. И вдруг... ужас охватил олпу... Падает круг, а за ним камнем летит женщина. Толпа бежит к осту. Воздушная путешественница упала не в воду, а на баржу, стоявшую у берега. Этим временем, облегченный таким трагическим образом шар набирает высоту, но увы, не надолго .. Аэронавт приземляется на рыше двухэтажного дома на левом берегу реки Оми. Его спасают пожарные.

Спутница аэронавта получила перелом трех ребер, ключицы и руки. Фамилия и имя этой женщины остались неизвестными, но нам удалось становить, что это была посудница из гостиницы „Европа" в Омске.

Она была вторая сибирячка - воздухоплаватель и опять таки родом з Тобольска.

III. ПОТОМОК ЕРМАКОВСКИХ АТАМАНОВ — П. А. ПЕРВОВ

ЗНАКОМСТВО

Июль 1911 года. Мои мечты об изучении Заполярья осуществились, в Обдорске (теперь Салехард).

Белела полярная ночь. Освещенные полуночным солнцем, на западе облескивают зубцы снеговых вершин Северного Урала. Иду к пристани а квартиру, нанятую у Соломониды Никитиной — вдовы рыбака.

После завтрака осматриваю Обдорск. В центре села — приветливый домик, у раскрытого окна которого сидит молодой человек с книгой. Хозяйка пояснила мне, что это Пашка Первов, чудаковатый, ничем не занимающийся кроме чтения книг, человек.

Вечером я зашел в библиотеку „Духовного миссионерского братства в. Гурия". Библиотека была далеко не духовной, скорее краеведческой. Здесь мы познакомились с Первовым.

— Где вы остановились? — спросил он меня.— Кажется у Халевы, как слышал?

— Нет, у Никитиной, — ответил я.

— А, так и есть, у Халевы, — рассмеявшись, сказал он. — Халева — то вид чайки с резким неприятным криком, их много у нас. Вот Никитина и получила прозвище Халевки за свой нрав и крикливый голос, — пояснил Первов.

— Знаю этих чаек, — сказал я ему и назвал чайку по-латыни.

— Знаете что я вам скажу, — обратился ко мне Первов. Я живу один, сестра в отъезде, переходите-ка ко мне. У меня есть кое-что из книг, занимаюсь фотографией, коллекционирую.

„Куда с добром" — подумал я по-сибирски и на другой день переселился к Первову.

Ему было 24 года. По внешнему облику он походил на политического ссыльного, каких было тогда немало в местах „не столь отдаленных". Из обдорцев он был в то время самым интеллигентным. Мы с ним быстро сошлись и стали друзьями.

Биография его была пока еще несложна, но и необычайна. Предки П. А. Первова вели свой род от атамана Первяка, оставшегося с горсточкой казаков от ермаковского отряда в Березове. Его отец, мелкий купец и рыбопромышленник, березовский казак, живший в Обдорске, послал своего Пашу учиться в уездное училище в Березов. Он полагал, что из сына выйдет достойная ему смена — грамотный купец. Но получилось иначе. Молодой Первов, окончив училище, заменил торговые кни-

ги научными. Отец умер, оставив ему тысяч пять капитала. Самообразование продолжалось. Амбар-лавка была на замке, а каждая, редкая в Обдорске, почта доставляла Первову много книг и журналов. Знакомство с политическими ссыльными, беседы с ними, расширяли умственный кругозор.

Так жил Первов, когда я познакомился с ним. Он был страстным краеведом, и часто наши беседы от общенаучных тем переходили к краеведческим.

Однажды Павел Александрович, вернувшись с пристани, сказал мне:

— На днях уходит в Тобольск пароход „Грозный". Я махну туда, а затем в Омск, на Первую Западно-Сибирскую выставку. Захвачу северные экспонатики — шкуру белого оленя — музею пригодится — и кое-что еще.

Через несколько дней я проводил Первова и продолжал заниматься исследованием Приобдорской тундры.

РОЖДЕНИЕ ПИЛОТА

В конце августа того же года я возвратился в Омск. Была сырая сентябрьская полночь; тем не менее, на территории Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной выставки карнавал был в полном разгаре. Приз самой красивой женщины был вручен, и ее везли на колеснице. Из толпы с факелами выбежал Павел Александрович. Увидев меня, он обрадовался и стал настойчиво приглашать к себе переночевать. В небольшой комнатке, освещенной слабой керосиновой лампочкой, за стаканом чая, мы беседовали. Разговор шел не о городе, в котором он был впервые, не о выставке, а об авиации, бывшей еще на заре своей юности.

На выставку для гастролей приезжали тогда авиатор Уточкин с аппаратом „Блерио" и Лебедев с „Фарманом". Увидав воздушные полеты, Павел Александрович был ошеломлен и удивлен. Его ум и волю захватило желание самому летать. Он теперь строил самые фантастические планы. Ему представлялись грандиозные перспективы развития авиации в будущем.

Вот об этом то он мне и рассказывал до самого рассвета.

Через 10—12 дней я зашел навестить будущего авиатора, но дома его не застал. Квартирная хозяйка сказала, что он уехал совсем, но куда — она и сама не знает. На север уходили последние пароходы. „Домой, в Обдорск, наверное", — решил я и пошел в научный павильон выставки.

* * *

Июнь 1912 года. Белая полярная ночь. Плывем. Наш каюк, буксируемый маленьким почтовым пароходиком „Кланя", слегка покачивается на мелкой ряби величественной Оби, сегодня на редкость спокойной и многоводной. До Обдорска плыть еще сутки. В Мужах к нам сел новый пассажир. Он — типичный северянин. На нем яркокрасный „гусь" с синим туземным орнаментом по рукавам и подолу, на ногах рыболовецкие бродни. Познакомились, разговорились. Оказались у нас и общие знакомые.

— А ведь Пал Александрович у нас летателем стал, — сообщил новый знакомый. — Изволите про него прочитать? — обратился он ко мне.

Мой спутник открыл чемодан и протянул мне аккуратно свернутую газету. На второй странице газеты я прочитал: „Авиатор из Обдорска". Крупнейший этнограф, писатель В. Г. Богораз ярко описал моего приятеля П. А. Первова. Эта новость меня ошеломила и, в то же время, обрадовала. Так вот куда махнул из Омска милейший Павел Александрович! И мне вспомнилась ночь после выставочного карнавала. „Завтра, зна

чик, увидимся" — подумал я, и, передав газету владельцу, задремал под мерное покачивание каюка.

В Обдорске на пристани, среди толпы, расцвеченной яркими красками „гусей" и обычных костюмов, я увидел Павла Александровича. Он подбежал ко мне, потащил к себе на квартиру и обязал остановиться только у него.

В знакомой мне комнате, кажется, ничего не изменилось за год моего отсутствия. Все по-старому, но .. под зеркалом, на стене — диплом пилота. За зеркалом обломки пропеллеров — результаты неудачных пробных полетов и приземлений. Он с восхищением показывает мне и то и другое. Правда, о дипломе говорит больше и вдохновеннее, чем об обломках

На столе кипит ярко начищенный самовар. Едва начали беседу, как нас прервали. Зашли приезжие люди посмотреть „аэроплан". Павел Александрович не совсем доволен, но показывает.

Наконец, мы одни, разговор начался.

— Из Омска, где я познакомился и посоветовался с Уточкиным, — начал свой рассказ Павел Александрович, — я уехал в С.-Петербург. Там поступил в частную летную школу графа Стенбок-Фермора. Все что оставил мне покойный отец, я прожил и израсходовал на обучение летному делу.

— Ну, а как обучали?

— Одно скажу: неважно, а денег брали уж очень важно. Было у нас в школе две группы. Сперва теоретическая, а потом переводили в летную. Знаний мы получали маловато. На аэроплане с одним управлением инструктор возил нас несколько раз. После полета инструктор коротко спрашивал: „Понял?" Обычно отвечали „понял", а на самом деле — едва разбирались. А вот эти „сувениры", — и Павел Александрович пальцем показал на обломки пропеллеров, — ведь это тоже результат обучения. Кроме того, от этих „сувениров" карман пуст: за все поломки во время обучения я платил..

— Вот мне бы, как Уточкину, свою машину иметь, — продолжал Павел Александрович. — Он в 1910 году за шесть полетов дал доход предпринимателям, которые его эксплоатировали, 26149 рублей. А ведь ему не разрешали подниматься в воздух выше забора сада, чтобы почтенная публика не смотрела его полеты на дармовщинку. Я сам слышал, как клоун на сцене пел куплеты о том, что Уточкин летает „на манер летучей мыши, не выше крыши".

Наконец, Павел Александрович с горечью сказал, что принужден сидеть в Обдорске и ползать... А профессор Шарь так высказал свой восторг о воздушном полете: „Ощущение при подъеме в воздух нельзя назвать наслаждением, — это счастье". И вот этого счастья Первов лишился.

Потом говорили о моей экспедиции в Мангазею. О Мангазее он рассказал мне много интересного.

Пришла шхуна „Мария", и через пять дней я покинул гостеприимный дом Павла Александровича.

ГИБЕЛЬ ОБДОРСКОГО АВИАТОРА

Июнь 1914 года. Совершая четвертое путешествие за полярный круг, я вновь попадаю в Обдорск. Опять останавливаюсь у Первова. Я привез ему несколько книжных новинок по авиации и последний номер единственного тогда авиационного журнала. Книжкам он был очень рад, а журнал сам выписывал.

Павел Александрович как-то осунулся, постарел, но с прежним

жаром рассказывал мне об успехах авиации, и помню, что-то о геликоптерах. Он мечтал о воздушной экспедиции на Северный Полюс, об осуществлении экспедиции, подобно моей, при помощи авиации.

Мы расстались. И, как потом оказалось, наша встреча была последней.

В конце 1914 года, в Петрограде, будучи у одного студента-обдорянина, я узнал, что Павел Александрович куда-то уехал из Обдорска. Тогда это было последнее известие о нем.

Проходили годы, я не забывал о Первове, а в 1927 году, будучи в Тобольске, наводил о нем справки у общих знакомых. Но все было безрезультатно.

Наконец в 1934 году я встретил в Омске обдорян, его соседей, и те мне рассказали печальную новость:

В 1915 году Первов с открытием навигации уехал из Обдорска. Он поехал предложить свои услуги летчика русскому военному командованию. Полагают, что ему отказали. На обратном пути в Обдорск Павел Александрович бросился под проходящий поезд...

Неизвестна могила первого сибирского авиатора из Лукоморья. Память о нем забыта...

Когда я смотрю в Омском областном краеведческом музее на чучело белого северного оленя, то вспоминаю П. А. Первова. Шкуру для этого чучела подарил музею он.

Так нередко погибали талантливые русские люди.

Доживи Первов до нашей великой эпохи, он бы увидел свои мечты претворенными в явь, а сам он теперь был бы славным сталинским соколом, разящим в воздухе врагов человечества и нашей Родины — немецких фашистов.

Г. ДУСАВИЦКИЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ОМСКЕ

Омский областной драматический театр открыл истекший сезон „Ревизором" Гоголя и закрыл его „Дядей Ваней" Чехова. Это не случайное стечение названий бессмертных классических пьес. Истекший сезон тем и характерен, что он прошел под знаком углубленной работы театра над классической драматургией.

Каждая постановка классической пьесы является в жизни любого театрального коллектива большим событием. Работой над русской национальной драматургией каждый актер в отдельности и театр в целом держат экзамен на зрелость. Освоение классиков поднимает культуру театра, повышает мастерство режиссера, актера, художника. Мы уже не говорим о том, что сам факт пропаганды классического произведения с театральных подмостков является большим благородным и патриотическим делом.

Нельзя, поэтому, не приветствовать Омский областной театр, который, активно включившись в республиканский смотр спектаклей русской классики, смело приступил к воссозданию на сцене бессмертных образов нашей национальной драматургии. Это тем более отрадно отметить, что уже первый спектакль „Ревизор" свидетельствует о новом шаге театра вперед по пути своего творческого роста.

В постановке режиссера Н. А. Шевелева спектакль „Ревизор" отличается живой реалистической направленностью, строгой, правильной трактовкой эпохи, образов. Несмотря на ряд существенных недостатков (некоторый налет бытовизма в игре отдельных актеров, слабое исполнение ролей Марьи Антоновны, Добчинского и Бобчинского, отсутствие необходимой стремительности и остроты в развитии отдельных сцен) спектакль в целом является несомненной удачей театра. Старые опытные артисты Л. С. Самборская (Анна Андреевна), А. С. Суханов (городничий), Н. Н Колесников (Ляпкин-Тяпкин), П. С. Некрасов (Осип) блеснули филигранной шлифовкой своих ролей, уменьем проникнуть в сатирическую манеру великого писателя, владеть его отточенной фразой.

Наряду со „стариками" в спектакле отличилась и молодежь. А. Ф. Теплов впервые выступает в такой сложной и ответственной роли, как Хлестаков. В исполнении молодого актера много спорных моментов (в частности излишнее местами оглупление своего героя), однако темпераментная игра, искреннее стремление приблизиться к авторской характеристике образа подкупает зрителя. Участие в „Ревизоре" несомненно сыграло решающую роль в творческой биографии Теплова.

Островский представлен в истекшем сезоне двумя пьесами: „Волки и овцы" и „Без вины виноватые". Русский театр за многие десятилетия накопил богатый опыт и выработал известные традиции в постановке пьес великого драматурга. Постановщики пьес Островского в Омском театре Л. В. Розвозжаев и А. О. Лейман в своей работе над спектак-

ями „Волки и овцы" и „Без вины виноватые" от этого опыта и традиций и оттолкнулись.

Однако, они не пошли слепо за натуралистически-бытовой традицией постановки Островского, свойственной многим старым театрам, и в то же время категорически отвергли всякие „новаторские" эксперименты, искажающие лишь основные идеи и образы пьес. Построив спектакли в строгом реалистическом плане, постановщики и весь коллектив исполнителей постарались так показать современному зрителю пьесы Островского, чтобы он лучше проник в их глубокий смысл и богатое содержание.

Постановка „Волки и овцы" на сцене Областного театра приоткрывает перед зрителем один из уголков темного царства, которое так беспощадно бичевал Островский. Она отображает затхлую, насыщенную лицемерием, подлостью, алчностью атмосферу последних „дворянских гнезд".

Основным исполнителям ролей удалось значительно приблизиться к образам Островского, перевоплотиться в них. Артистка М. И. Семена нашла убедительные и живые краски для обрисовки роли Меропы Давидовны Мурзавецкой. Артист А. Ф. Теплов удачно трактует образ никчемного дворянского выродка Аполлона Мурзавецкого. Хороша и артистка М. С. Карпова в тонкой роли Глафиры Алексеевны. Удачно проведена ею в частности сцена „саморазоблачения" Глафиры перед Купавиной. Запоминаются и сцены „околпачивания" ленивого, безвольного простака Лыняева, образ которого прекрасно воспроизвел на сцене артист П. С. Некрасов.

В этом спектакле запоминаются также и образы плута Чугунова (арт. М. М. Иловайский), молодой вдовы Купавиной (арт. Л. А. Матези) и Анфусы Тихоновны (арт. Е. И. Ростова).

В спектакле „Без вины виноватые" особенно радует то, что самые сложные психологические роли нашли достойных исполнителей. Артистка Л. С. Самборская яркими красками рисует портрет актрисы Кручининой—простой скромной женщины, но глубоко чувствующей матери и человека. Самборская овеяла этот образ дымкой тихой грусти и печали. Захватывающе хорошо проходят трогательные сцены, где чувства несчастной матери прорываются наружу: первая встреча с Незнамовым, встреча с Галчихой, объяснение с сыном.

Самборская имеет прекрасного партнера в лице арт. В. А. Бескина, играющего Григория Незнамова. Артист нашел нужный тон и жест, чтобы правильно раскрыть и донести до зрителя этот сложный образ. С большим чувством и настоящим пафосом произносит Бескин монолог Незнамова — этот кульминационный момент в спектакле. Запоминаются образы провинциальных актеров Коринкиной и Шмаги, ярко и сочно изображенных артистами М. М. Янковской и П. С. Некрасовым. Привлекательный, мягкий рисунок роли богатого мецената Дудукина дает арт. А. С. Суханов.

Постановка пьес Островского показала несомненный творческий рост всего театрального коллектива, его умение серьезно, на высоком уровне художественной культуры, работать над золотым фондом русской литературы. Это дало основание театру приступить к работе над чеховской драматургией, самой сложной в классическом наследии.

Отмечая 40-летие со дня смерти А. П. Чехова, театр взял на себя благородную задачу донести до современного зрителя эстетическую и познавательную силу замечательной чеховской пьесы „Дядя Ваня", вскрыть ее социальный смысл. В постановке режиссера Л. В. Розвозжаева, очень тщательной и продуманной, широко использованы сценические средства, раскрывающие особенности чеховской драматургии,

Однако постановщик недостаточно выразительно подчеркнул те мотивы пьесы, которые больше всего способны волновать современного зрителя, а именно — апофеоз труда и любовь к родной земле. Центральным мотивом спектакля стал безысходный пессимизм людей, засасываемых тиной мещанской обыденщины. Астров — подлинный герой пьесы, носитель прогрессивного начала, оказался в спектакле оттесненным на второй план. В этом отчасти повинен и актер Н. Н. Потоцкий, исполняющий роль Астрова. В его исполнении Астров очень мил, умен, но недостаточно выразителен, как изобличитель праздности и поэт творческого труда. Потоцкий-Астров убедителен и ярок в сценах, где его начинают одолевать пошлость и скука, но несколько схематичен там, где должно раскрываться благородство его души. Это скорее бесстрастный рупор передовых идей, чем подлинный их носитель.

Хорошо и правильно раскрыты образы Войницкого и профессора Серебрякова артистами Н. Н. Колесниковым и А. С. Сухановым. Запоминаются и образы Сони и Телегина в хорошем исполнении молодых артистов Е. А. Кузнецовой и А. Ф. Теплова.

Опытной и несомненно одаренной артистке Л. А. Матези не удалась роль Елены Андреевны и, поэтому, зритель не получает необходимого представления о силе обаяния этой красивой и умной женщины, „сводящей всех с ума".

Несмотря на все недостатки, спектакль „Дядя Ваня" является для театра серьезным шагом вперед по пути к овладению чеховской драматургией, повторяем, самой сложной в классическом наследии.

Наши замечания о спектаклях русской классической драматургии будут неполными, если не отметим художественного оформления постановок. Декорации и костюмы художников А. А. Ландышева и П. А. Меньшутина помогают зрителю глубже проникнуть в эпоху, лучше познать прошлое с его бытом, нравами, всем жизненным укладом. Отметим в частности колоритное оформление спектакля „Волки и овцы", сделанное А. А. Ландышевым. Очень эффектно воспроизведен стиль барской усадьбы пореформенного периода. Особенно запоминаются декорации третьего акта (парк) и четвертого акта (комната в азиатском вкусе в доме Кунавиной) Заслуживает особого внимания и декоративное оформление спектакля „Ревизор", интересно разрешенное художником П. А. Меньшутиным.

Омский театр показал в истекшем сезоне и одну постановку из западно-европейской классики — „Собака на сене" Лопе де-Вега. Театр работал уже над этой пьесой несколько лет назад, но нынче преподнес ее своему зрителю в совершенно новой постановке.

В работе режиссера Л. А. Стратан, поставившей этот спектакль, чувствуется стремление сказать что-то новое о старинном, но вечном произведении Лопе де-Вега. С этой точки зрения умело разрешены отдельные роли, мизансцены, детали оформления. Однако оформление спектакля в целом разрешено не совсем удачно. Тесная площадка и единая установка, детали которой почти не меняются, как-то сковывают движения артистов, влияют на весь темп спектакля. В декорациях художника А. А. Ландышева нехватает красок, света, воздуха, чтобы лучше оттенить бодрый, радостный тон спектакля.

В актерском ансамбле резко выделяются хорошей игрой три исполнителя. Это Л. А. Матези (Диана), П. С. Некрасов (Тристан) и А. Ф. Теплов (граф Людовико). Неплохо получились и многие другие образы. Однако общий ансамбль в спектакле нарушен тем, что из него по существу выпал один из центральных образов — Теодоро. Артист В. А. Рейшвиц старается вести эту роль в лирическом плане, но это мало отвечает актерской индивидуальности. Сложный, интересный образ остается нераскрытым.

Слабым местом в работе театра за истекший сезон мы считаем недостаточно серьезный выбор советских пьес. Тема Великой Отечественной войны отражена в трех спектаклях — „Домик в Черкизове", „Жди меня" и „Чрезвычайный закон". Каждая из этих пьес имеет свои достоинства, но общий художественный их уровень недостаточно высок для того, чтобы создать полноценный спектакль.

Автор пьесы „Домик в Черкизове" Арбузов стремился показать молодого советского человека в Великой Отечественной войне, раскрыть благородство его души, чувств, мыслей. Тема большая, актуальная, благородная, но она должного разрешения не получила в пьесе. Автор знакомит зрителя со своими героями за несколько месяцев до войны. В первом действии перед нами проходит довольно странная галлерея молодых людей — взбалмошная девица, чуждая советской действительности, „сухарь", неудачник, хулиган, пошляк и т. п. В дальнейшем все эти люди, пройдя сквозь горнило войны, становятся подлинными героями, пламенными патриотами своей родины. Ничего невозможного в этом факте нет. Даже напротив, война оказалась суровой школой для всех людей. Но это не спасает пьесу, нарочитость и надуманность коей очевидны. Незачем было автору рисовать довоенную молодежь как букет каких-то уродов. Ведь в первом действии не оказалось ни одного нормального, обыкновенного, простого советского юноши или девушки. А главное—слишком уж схематично и неубедительно показано „новое рожденье" молодежи в войне.

Достоинство пьесы — в ее теме. Видимо это и привлекло к ней внимание руководства театра, решившего создать на этом материале молодежный спектакль. И надо сказать, что театральная молодежь, несмотря на ограниченность материала, не ударила лицом в грязь. Ее взволнованная, искренняя игра, стремление раскрыть перед зрителем душу современного молодого человека нашей страны смягчила отдельные недостатки пьесы и наполнила некоторые образы живой кровью и плотью Этим объясняется то, что у большей части зрителей, особенно у молодежи, спектакль пользовался успехом.

В спектакле (режиссер Н. А. Шевелев) выделились хорошей игрой молодые актеры Е. А. Кузнецова (Надя), Л. А. Ковылин (Шеремет), В. А. Рейшвиц (Смагин) и некоторые другие.

Пьеса „Жди меня" написана Константином Симоновым по мотивам его же популярного лирического стихотворения. Однако пьеса в художественном отношении значительно ниже стихотворения. Это по существу раздутый эпический пересказ прекрасного лирического произведения.

Верность Лизы, ее упорное ожидание возвращения мужа продиктованы каким-то самовнушением, или, вернее, фатальной верой в существование железного закона: „Жди меня и я вернусь". Неглубокие философские сентенции, вложенные в виде реплик в уста действующих лиц, преследуют назойливую цель доказать непреложность этого закона. Все это звучит нарочито и, в конечном счете, снижает идейное содержание и художественную ценность пьесы.

Постановщик Н. А. Шевелев и коллектив исполнителей приложили не мало усилий, чтобы создать сносный спектакль. Отдельные актеры хорошо ведут свои роли. Опытный мастер Н. Н. Колесников дал живой образ советского героя Николая Ермолова. С теплым подкупающим юмором сыграли свои роли артисты Б. Н. Котляревский (фотокорреспондент Миша), Н. В. Невский (Федор Семенович), О. И. Шевелкова (Паша). Но все же материал пьесы в целом сковал творческие возможности многих исполнителей и, поэтому, можно говорить лишь об отдельных удачных частностях в спектакле.

Особое место занимает пьеса братьев Тур и Л. Шейнина „Чрезвычайный закон". Это не из тех произведений, которые претендуют на бессмертие. Она преследует конкретную агитационно-воспитательную цель: поднять общественное мнение против жуликов и казнокрадов, пристроившихся к государственному пирогу, чтобы его расхитить. Этим презренным людям и их низменным страстям авторы пьесы противопоставляют честность и благородство рядового советского человека, истоки которых—любовь к Родине, к народу.

Написана пьеса живо, остроумно и смотрится хорошо. По замыслу авторов, центральным образом пьесы должен быть скромный, честный патриот Синицын, но в спектакле Областного театра (постановщик Л. В. Розвозжаев) таковым оказалась чета Клембовских. В этом повинны, с одной стороны, авторы пьесы, которые нашли больше ярких красок для Клембовских, чем для Синицына, а с другой... артисты М. М. Иловайский и Г. Т. Ковальская, превосходно играющие изворотливого завсбытом и его достойную спутницу жизни. Иловайский дает сочный образ законченного негодяя-казнокрада, а Ковальская — тонкий рисунок женщины-паразита, легко, как бабочка, порхающей по обочине жизни.

В истекшем сезоне шли еще две постановки, премьеры которых относятся к предыдущему сезону. Это „Генерал Брусилов" Сельвинского и „Стакан воды" Скриба. Несмотря на ряд существенных недостатков в пьесе „Генерал Брусилов" (риторичность, статичность, пробелы в конструкции произведения), она удачно поставлена на сцене Омского театра. Успеху спектакля во многом способствовало прекрасное исполнение арт. Н. Н. Колесниковым роли Брусилова. Злободневность темы (борьба против немцев), актуальность брусиловских военных идей и стратегических приемов, показ славы русского оружия заинтересовала, взволновала широкого зрителя. Особым успехом пользовался спектакль у советских офицеров и бойцов.

Очень живо и весело проходила на сцене Областного театра брызжущая остроумием и комизмом бессмертная скрибовская пьеса „Стакан воды". Роль леди Черчилль прекрасно исполняла арт. Л. С. Самборская.

Подводя итог театральному сезону Омского областного драматического театра надо отметить успехи коллектива в освоении классической драматургии, дальнейший рост молодых кадров, раскрытие их дарований (А. Ф. Теплов, Е. А. Кузнецова и другие), новые яркие образы, созданные Л. С. Самборской, Н. Н. Колесниковым и другими актерами старшего поколения. Упрекнуть приходится театр прежде всего в скудности репертуара советских пьес об Отечественной войне.

В истекшем сезоне возобновил свою работу Омский областной театр кукол. Юному зрителю были показаны: политическая сатира „Доннер-веттер", сказки „Волшебная калоша", „Коза-дереза" и „Очарованная сабля". Несмотря на мало благоприятные условия для работы (отсутствие постоянного помещения, изменение состава труппы) постановки кукольного театра свидетельствуют о больших творческих возможностях коллектива. Показательна в этом смысле последняя премьера театра—инсценировка русской народной сказки „Очарованная сабля".

Сказка повествует о храбрости русского солдата, его сметливости, изобретательности, верности воинскому долгу. В работе постановщика М. М. Иловайского приятно отметить печать сценической культуры. При всей лубочности, неизбежно вытекающей из специфики кукольного театра и фольклорного характера сказки, спектаклю был придан яркий исторический колорит. Это нашло свое отражение как в художественном, так и музыкальном оформлении спектакля. Дети с большим удовольствием следили за похождениями бравого русского солдата (арт. Белов), их предстал образ царя-плотника Петра I (арт. Тимошен-

ко), смешили неудачи злого воеводы и скупой хозяйки корчмы (артисты Есилевич и Шейн).

Другой Омский театр для детей — ТЮЗ — показал лишь один спектакль — „Красная шапочка" и по существу в сезоне не участвовал. Это была скорее подготовка к предстоящему сезону.

Омский государственный цирк показал в этом году ряд интересных номеров. Несколько месяцев шли гастроли заслуженного артиста республики В. Г. Дурова, выступавшего со своими четвероногими друзьями. Большим успехом пользовался новый советский аттракцион—летающая ракета.

Большой интерес вызвали у зрителя и выступления художественной творческой группы под руководством А. Н. Хибина. Эта группа демонстрировала все жанры циркового искусства.

Основное место в последней программе сезона заняли сеансы французской борьбы.

Концертный сезон прошел ныне более бледно обычного. Но все же следует отметить открытый концерт, проведенный силами артистов Областного радиокомитета. Украшением этого концерта был симфонический оркестр малого состава под управлением культурного и чуткого дирижера И. А. Тесслер. Отлично прозвучали в исполнении этого оркестра бессмертные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Бизе, Россини, Шопена, русские народные песни.

Известный вклад в театральную жизнь Омска внес Челябинский театр оперетты, гастролировавший здесь по приглашению Омской филармонии. В его постановке омский зритель смотрел популярные оперетты: „Сильва", „Коломбина". „Продавец птиц", „Марица", „Летучая мышь". Из новых советских оперетт была показана „Девушка из Барселоны".

* * *

Основное место в истекшем театральном сезоне занял по-праву Омский областной театр. Наши пожелания театру в новом театральном сезоне: продолжать с таким же успехом работу над классикой, уделив не меньшее внимание советской драматургии, особенно произведениям, посвященным теме Великой Отечественной войны.

От остальных творческих сценических коллективов омский зритель вправе требовать новой разнообразной, содержательной программы, отвечающей его запросам патриота и гражданина.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Забичков. Стихи о пехотинце. Фотокарточка. . . . 3
Иван Истомин. „На чем ездит Красная Армия" (рассказ). . 6
Георгий Суворов Косач (стихи) 13
Сергей Залыгин. Рыбаки (рассказ) 14
Ася Генкина. Бессонница (стихи) 24
Анна Сбитнева. Начало жизни (рассказ) 26
Иван Дружинин. Огонь. Соловей (стихи) 34
Николай Вигилянский. В плену (рассказ) 36
Нина Скрынникова. Готамские мудрецы (английская народная сказка) 53
Мария Иоффе. Невеста сержанта Шумилова (рассказ) . . 56
Б. Бухштаб. Поэзия Петра Драверта (статья) 64
Петр Драверт. Стихи. 75
Омичи на фронтах Великой Отечественной войны.
К. Таюрский. Солдатская слава (очерк) 82
И. *Огрызко.* Народы Севера в Великой Отечественной войне (статья) 90
Б. Бухштаб. Революционные просветители о немцах (статья). 101
П. Драверт. О двух ископаемых. 123
Ин. Шухов. Летающие тоболяки (из воспоминаний) . . . 131
Г. Дусавицкий. Театральный сезон (статья) 137

Подписано к печати 14/XI 1944 г.
ПД 22946. Тираж 3000 экз.
Инд. Х-5. 9 п. л., 8,56 уч.-изд. л.
Цена 16 р.

Редакционная коллегия:
Б. Я. Бухштаб
П. Л. Драверт
С. И. Жданов (ответ. редактор)
Б. Д. Шишакин

Адрес редакции альманаха: г. Омск, ул. Ленина, 4, Омское Областное Государств
Издательство ОГИЗ'а.

Типография Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся,
г. Омск, ул. Красный Путь, 1. Заказ № 2782.

0-50

~~16 p.~~

0-50